
Долг перед мёртвым братом
Егор Ралович

Егор Ралович

Долг перед мёртвым братом

«Автор»
2026

Ралович Е.

Долг перед мёртвым братом / Е. Ралович — «Автор», 2026

Десять лет назад наёмник Ярема Бусел своими руками закопал старшего брата на Кривом Яру. Осенью в придорожной корчме мальчишка приносит ему письмо, написанное рукой Данко: «Ты мне должен. Приходи к Колодню до Мёрзлой ночи». Внизу – знак из их детства, два сцепленных крючка.Могила оказывается разрыта, гроб пуст и выбит изнутри. В Пограничье Марок верят, что неоплаченный долг держит душу: мёртвые, которым должны, попадают на Нижний Торг под старыми курганами и служат там, пока долг не закрыт. Из тумана за Яремой выходят безликие мытари и требуют залог.Ярема не помнит, что на самом деле случилось при падении Колодня, где погибла его рота. Вместе с изгнанной отпевальщицей Чарушей, мальчишкой, который слышит воронов, и хромым обозным, единственным уцелевшим свидетелем, он отправляется туда, где пала крепость. До Мёрзлой ночи надо успеть понять, что он задолжал брату и кто продал Серую роту.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Письмо из земли 5
Глава 2. Кривой Яр 11
Глава 3. Мытарь 17
Глава 4. Вежин 23
Глава 5. Свеча и пепел 29
Глава 6. Ловчий 35
Глава 7. Корчма на перекрёстке 41
Глава 8. Долговая яма 47
Глава 9. Мокша 53
Глава 10. Что помнит обозный 58
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Егор Ралович
Долг перед мёртвым братом

Глава 1. Письмо из земли

В Сухом Броду платили медью, а обманывали серебром. Ярема Бусел знал это давно и потому пересчитывал монеты дважды: сначала глазами, потом пальцами. Пальцев на левой руке у него было три, и купец Пахом Огарёв, сидевший напротив, всякий раз отводил взгляд, когда эта рука ложилась на стол.

– Тут сорок, – сказал Ярема. – Уговаривались на пятьдесят.

– Уговаривались на пятьдесят за обоз без потерь, – купец облизнул губы. – А я одну телегу оставил в Лисьем логу. С кожами.

– Телегу ты оставил, потому что ось лопнула. Я говорил тебе в Ольшанах, что ось гнилая.

– Говорил, – согласился купец. – Но телега-то осталась.

Корчма гудела. Под потолком висел жирный дым, у очага сушились чьи-то портянки, и от них пахло так, что даже собаки держались от огня подальше. За соседним столом трое обозников играли в кости и ругались на каждом броске. Хозяйка, широкая баба с лицом, похожим на печёную репу, носила пиво и не улыбалась никому.

Ярема положил на стол ладонь. Не левую – правую, целую. Положил спокойно, будто прихлопнул муху.

– Пахом, – сказал он тихо. – Ты человек торговый. Ты знаешь, что такое слово. Я тебе слово держал девятнадцать дней. В Лисьем логу нас ждали шестеро с топорами, и я положил двоих, а остальные ушли в лес. Ты в это время сидел под телегой с кожами. Той самой, которая потом осталась.

Купец покраснел пятнами, полез в пояс и вынул ещё пять монет.

– Сорок пять. Больше нету.

– Есть, – сказал Ярема. – В левом сапоге. Ты туда клал, когда думал, что я сплю.

За соседним столом засмеялись. Купец оглянулся, понял, что смеются над ним, и стал совсем красный. Потом нагнулся, долго возился с сапогом и выложил последние пять монет, тёплые и влажные.

– Грабитель, – сказал он без злобы.

– Наёмник, – поправил Ярема. – Грабители берут больше.

Он сгрёб монеты в кошель, кошель сунул за пазуху, а пазуху застегнул на крючок. Купец ушёл, сердито хлопнув дверью, и в корчму ворвался холод. Стояла поздняя осень, та пора в Марках, когда дожди уже кончились, а снег ещё не лёг, и земля по утрам звенела, как пустой котёл.

Ярема взял кружку, отпил. Пиво было кислое. Он подумал, что завтра надо найти новый найм, лучше до весны, и лучше на юг, где теплее. На юге в Боровичах собирали людей для охраны солевозов. Платили там плохо, зато кормили.

Дверь снова скрипнула. Холод вошёл ещё раз, а вместе с холодом вошёл мальчишка.

Ему было лет двенадцать, может, меньше: в Марках после Пепельной смуты дети росли кривыми и мелкими, и угадать их возраст было трудно. Мальчишка был босой, хотя на дворе стоял заморозок. На нём висела рубаха, сшитая когда-то для взрослого мужика, подпоясанная верёвкой. Волосы грязные, светлые, торчат во все стороны. И глаза – Ярема заметил это сразу – смотрели не так, как смотрят нищие. Нищий ищет, кто подаст. Этот искал кого-то одного.

Мальчишка прошёл между столами, ни на кого не глядя. Хозяйка открыла рот, чтобы выгнать его, но почему-то закрыла. Мальчишка подошёл к столу Яремы и остановился.

– Ты Бусел, – сказал он. Не спросил.

– Может быть.

– Ярема Бусел. С тремя пальцами.

Ярема поставил кружку.

– Кто тебя послал?

Мальчишка вынул из-за пазухи свёрток. Это был кусок бересты, сложенный вдвое и перевязанный жилой. Береста потемнела, будто долго лежала в земле, а жила была сухая и твёрдая, как проволока.

– Тебе, – сказал мальчишка и положил свёрток на стол.

– От кого?

– Не знаю. Вороны дали.

– Вороны, – повторил Ярема.

– Вороны, – мальчишка кивнул. – На Кривом Яру. Я там ночую иногда, в сторожке, когда сторож не гонит. Вчера вороны на кресте сидели и орали. Я подошёл, а у креста лежало. И они мне сказали: неси Буселу в Сухой Брод, он в корчме у Репихи, у него три пальца.

Он говорил спокойно, как говорят о дороге или о погоде. За соседним столом перестали играть в кости. Ярема чувствовал, как на него смотрят.

– Вороны тебе сказали, – повторил он.

– Ну да. Я их слышу. С малых лет. – Мальчишка пожал плечами. – Можно я поем? Я два дня шёл.

Ярема подвинул к нему свою миску. Там оставалось полкуска хлеба и немного каши. Мальчишка схватил хлеб обеими руками и стал есть, быстро и молча, как едят собаки.

Ярема взял бересту. Жила не развязывалась, пришлось резать ножом. Береста развернулась с сухим треском.

Буквы были выдавлены чем-то острым, может быть, костью. Неровные, наклонные вправо, с длинными хвостами у «у» и «д». Ярема знал этот почерк. Он знал его лучше, чем свой собственный, потому что сам писать почти не умел, а этот почерк видел на каждой записке, на каждом списке вещей, на каждой расписке, которую рота подписывала за двоих братьев Буселов.

«Ты мне должен. Приходи к Колодню до Мёрзлой ночи. Д.»

А внизу, под буквой, был знак. Два крючка, сцепленные друг с другом, как пальцы, когда тянут друг друга на спор. Этот знак они с братом рисовали на заборах в Кленовце, на дверях соседских сараев, на песке у реки. Он означал: «здесь были Буселы». Он означал: «я тут, я жду». Больше этого знака не знал никто. Мать знала, но мать умерла, когда Яреме было девять.

Ярема долго смотрел на бересту. Потом сложил её и положил на стол.

– Кто тебе это дал? – спросил он снова. Голос у него стал такой, что мальчишка перестал жевать.

– Я же сказал. Вороны.

– Кто тебе заплатил?

– Никто.

– Мальчик, – сказал Ярема очень тихо. – Человек, который написал это письмо, умер десять лет назад. Я его сам закопал. Сам гроб сколотил из дверей сарая, сам землю кидал. Если ты мне врёшь, я узнаю. И тогда мы с тобой поговорим по-другому.

Мальчишка посмотрел на него. В его глазах не было страха. Было что-то другое – усталость, может быть, или жалость.

– Я не вру, – сказал он. – Я никогда не вру про ворон. Про еду вру, про то, откуда пришёл, вру. А про ворон – никогда. С ними нельзя врать.

– Как тебя зовут?

– Митко.

– Чей?

– Ничей.

Ярема встал. Ноги были как чужие. Он вспомнил – не умом, а телом, как вспоминают холод, – тот день на Кривом Яру. Дождь. Мокрая глина, липнущая к лопате. Гроб, слишком лёгкий, хотя внутри лежал взрослый мужчина. Он тогда подумал: это от голода, брат совсем высох в осаде. Подумал и забыл. Десять лет не вспоминал.

– Эй, ты, – раздалось сзади.

Ярема обернулся. От двери к нему шли двое. Он их видел раньше – они сидели в дальнем углу с самого вечера, пили мало и смотрели много. Одеты как охотники: кожаные куртки, широкие пояса, на поясах ножи. У одного лицо было рябое, у другого – длинное и бледное, как редька. Длинный держал руку на рукояти.

– Мальчишка с нами пойдёт, – сказал рябой. – Он у нас украл.

– Что украл? – спросил Ярема.

– Не твоё дело.

Митко за столом перестал есть и тихо сказал:

– Они за мной от самого Яра шли. Я думал, отстали.

– Не отстали, – сказал рябой и улыбнулся. Зубы у него были жёлтые и крупные. – Пошли, малой. А ты, дядя, сиди. Пиво пей.

Ярема посмотрел на них. Он видел, как стоят их ноги, как держат руки. Рябой был опаснее, хотя казался проще. Длинный нервничал: он слишком крепко сжимал нож, и костяшки у него побелели.

– Кто вас послал? – спросил Ярема.

– Сказано тебе, не твоё дело.

– Мальчик принёс мне письмо. Значит, моё.

Рябой перестал улыбаться. Он посмотрел на бересту, которая лежала на столе, и Ярема увидел в его глазах то, чего не ожидал увидеть: не жадность, а страх. Рябой боялся этой бересты.

– Отдай письмо, – сказал рябой. – И мальчишку. Тебе заплатят. Хорошо заплатят. Больше, чем этот жирный купец.

– Кто?

Рябой ничего не ответил. Он двинулся вперёд. Быстро – быстрее, чем можно было ждать от такого грузного тела. Нож у него был уже в руке, коротким прямым хватом, лезвием вниз. Так бьют люди, которые убивали в тесноте: в переулках, в кабаках, в чужих домах.

Ярема не стал отступать. Он взял со стола кружку и плеснул пивом рябому в лицо. Тот моргнул, на долю мгновения. Этого хватило. Ярема шагнул в сторону, перехватил руку с ножом за запястье и крутанул. Тело рябого повернулось вслед за рукой, и Ярема ударил его лбом об угол стола. Звук был глухой, как от полена.

Длинный заорал и бросился. Он был моложе и злее, но не умел. Он махнул ножом широко, наотмашь, и Ярема пропустил клинок мимо груди, а потом ударил длинного в горло ребром левой ладони – той самой, где не хватало двух пальцев. Удар вышел неполный, но длинный захрипел, выронил нож и сел на пол, держась за шею.

В корчме стало тихо. Хозяйка стояла у очага с черпаком в руке, будто собиралась защищаться им от всего мира. Обозники за соседним столом сидели неподвижно.

Рябой застонал и попытался подняться. Ярема наступил ему на кисть, вынул из его пальцев нож и бросил в очаг.

– Кто вас послал? – спросил он в третий раз.

– Пошёл ты, – выдохнул рябой.

Ярема присел рядом на корточки. Он не любил бить лежачих. Не потому что был добрый – просто от этого мало толку. Человек, которого бьют лёжа, начинает ненавидеть, а ненавидящий плохо говорит.

– Слушай, – сказал он. – Я в этих местах восемнадцать лет. Меня знают в Боровичах, в Ольшанах, в Сухом Броду. Я тебя найду, если захочу. Но я не хочу. Я хочу только знать, кто платит тебе за мальчишку, который спит на кладбище.

Рябой посмотрел на него. Кровь текла у него со лба и заливала глаз. Он долго молчал. Потом сказал:

– Ловчий.

– Какой ловчий?

– Воеводин. – Рябой сплюнул кровь. – Кирей Ржа. Он сказал, если кто с Кривого Яра принесёт бересту, бересту отнять, а того, кто нёс, привести. Живого. За живого пять серебром.

– Пять серебром за мальчишку, – повторил Ярема. – Щедро. А за меня?

Рябой улыбнулся окровавленным ртом.

– А про тебя ловчий сказал, что ты сам придёшь.

Ярема встал. Ему стало холодно, хотя от очага шло тепло. Воевода. Воеводы в Марках было три, но ловчий по имени Кирей Ржа служил одному – Лютобору Скраге, хозяину Вежина и Заколодья. Тому самому, который десять лет назад нанял Серую роту держать Колодень.

Он обернулся к хозяйке.

– Сколько за погром?

– Стол целый, – сказала Репиха. – Кружка твоя. Этих двоих уберёшь – ничего.

– Они сами уйдут.

– Пусть уходят быстро. – Хозяйка опустила черпак. – И ты уходи, Бусел. Мне воеводины люди в корчме не нужны. Ни живые, ни побитые.

Ярема кивнул. Он и сам не собирался оставаться. Он взял со стола бересту, сунул за пазуху, рядом с кошелём, и повернулся к Митко. Мальчишка уже доел кашу и вылизывал миску пальцем.

– Ты идёшь со мной, – сказал Ярема.

– Куда?

– На Кривой Яр.

Митко положил миску.

– Зачем? Там ничего нет. Только вороны.

– Хочу посмотреть на могилу.

Мальчишка помолчал. Потом сказал:

– Я видел твою могилу. То есть не твою. Ту, у которой письмо лежало.

– И что?

– Ничего, – сказал Митко. – Просто ты, наверное, не захочешь смотреть.

Ярема ничего не ответил. Он снял с гвоздя у двери свой плащ – серый, суконный, протёртый на плечах от лямок мешка, – и подобрал мешок, который стоял у скамьи. В мешке было всё, что у него было: смена белья, точильный камень, огниво, моток верёвки, кусок сала, завёрнутый в тряпку, и короткий топорик. Меч висел на поясе. Меч был хороший, старый, рукоять обмотана заново в прошлом году. Меч остался от Данко. Свой Ярема потерял под Колоднем.

На крыльце его догнал один из обозников, тот, что проигрывал в кости весь вечер. Мужик был немолодой, с бородой, в которой застряли крошки.

– Бусел, – сказал он вполголоса. – Слышь. Я не лезу. Но ты про Мёрзлую ночь там на бересте прочитал?

Ярема остановился.

– Ты читать умеешь?

– Я видел через плечо. Не читать, а видел слово. «Мёрзлая». Мне бабка говорила: в Мёрзлую ночь мёртвые счёт сводят. Кому должны, к тому и приходят. А кто им должен – к тем зовут. – Обозник поёжился. – Ты не ходи, Бусел. Брось это. Мёртвый должок – он не как живой. Его не отдашь медью.

– А чем?

– Не знаю. Бабка не говорила. Бабка говорила: не ходи.

Ярема посмотрел на него. Потом достал из кошеля одну медную монету и положил обознику в руку.

– За совет.

– Так ты же не послушаешь.

– Не послушаю, – сказал Ярема. – Но совет хороший.

Он спустился с крыльца. Митко уже стоял внизу, во дворе, босыми ногами на мёрзлой земле, и смотрел на крышу корчмы. Ярема тоже посмотрел. На коньке сидела ворона. Большая, взъерошенная, чёрная, как сажа в трубе. Она смотрела на них и молчала.

– Это она, – сказал Митко. – С Яра.

– Откуда знаешь?

– У неё перо на крыле белое. Видишь?

Ярема видел. Одно перо в крыле было белым, как седой волос.

– Что она говорит?

Митко прислушался. Ворона не издала ни звука, но мальчишка кивал, будто разговаривал с кем-то.

– Говорит, что ты долго думал, – сказал он наконец. – Говорит: десять лет думал. Говорит: времени мало.

Ворона снялась с конька и полетела на север, туда, где за пустыми полями, за Ольшанами, за выгоревшими деревнями лежал Кривой Яр. Ярема посмотрел ей вслед. Потом снял с себя плащ и накинул на плечи мальчишке. Плащ доставал Митко до пят.

– Сапоги найдём в Ольшанах, – сказал Ярема. – До Ольшан дойдёшь?

– Я до Сухого Брода дошёл, – сказал Митко. – А ты мне плащ отдал. Ты сам замёрзнешь.

– Не замёрзну.

– Почему?

– Потому что злой, – сказал Ярема и пошёл со двора. Митко подобрал полы плаща и побежал за ним.

Ночь была ясная, со звёздами. Дорога белела под луной. Позади, в корчме, кто-то ругался, и кто-то стонал, и хозяйка Репиха кричала на всех сразу. Впереди было пусто и тихо. Ярема шёл быстро, не оглядываясь, и чувствовал под рубахой бересту, будто она грела ему грудь, хотя это было невозможно: береста была холодная, как земля, из которой пришла.

Он думал о брате. Он старался не думать, но не получалось.

Данко Бусел был старше на три года и всегда был впереди. Первым залез на колокольню в Кленовце, первым поцеловал девку, первым ушёл в роту, когда сгорела их деревня и некуда стало идти. Ярема пошёл за ним, потому что больше идти было не за кем. В роте Данко любили. Он умел петь, умел смешить, умел занять у капитана денег и не отдавать так, что капитан не обижался. Ярема умел считать и молчать. Говорили: Данко у Буселов голова, а Ярема – руки. Ярема не спорил.

Под Колоднем всё кончилось. Ярема мало что помнил о тех последних днях. Помнил голод. Помнил, как ели кожаные ремни, вымоченные в воде. Помнил рану в боку – копьё вошло под рёбра, когда враг ворвался во внутренний двор. Помнил темноту соляных выработок под крепостью, куда они уходили, чтобы вывести хоть кого-то через старый лаз. И потом – ничего. Лихорадка. Чьи-то руки. Свет.

Очнулся он через неделю, на телеге, в двух днях пути от Колодня. Телегу вёл обозный Гнат Стрижак. Гнат сказал: рота легла вся, ворота открыли изнутри. Гнат сказал: брат твой вынес тебя через лаз на себе, а потом вернулся за другими, и больше его не видели. Гнат сказал: тело нашли потом, у входа в выработки. Ярема тогда не мог стоять, а когда смог, поехал за телом сам и сам похоронил его на Кривом Яру, на ближайшем погосте, потому что везти дальше было нечем.

Гроб был лёгкий. Слишком лёгкий.

Он никогда об этом не думал. Он вообще старался не думать о Колодне. Он стал работать один, без роты, без товарищей, без долгов. Он брал плату вперёд и держал слово. Он никому не был должен и никого не просил быть должным ему. Так было проще. Так было честно. Так было десять лет.

А теперь мёртвый брат написал ему, что он должен.

– Ярема, – сказал Митко за спиной. Он запыхался.

– Чего?

– А правда, что ты его сам хоронил?

– Правда.

– А он был хороший?

Ярема долго молчал. Дорога шла под горку, между голыми ивами, и где-то впереди журчала невидимая речка.

– Он был мне брат, – сказал наконец Ярема. – Это не про хороший или плохой.

– А про что?

– Про то, что я за ним ходил всю жизнь. Куда он, туда и я.

– А под Колоднем? – спросил Митко.

Ярема остановился. Мальчишка чуть не налетел на него.

– Откуда ты знаешь про Колодень?

Митко моргнул.

– Ворона сказала. Пока ты в корчме дрался. Она сказала: он с братом был под Колоднем, и брат его вынес, а сам остался. – Мальчишка помолчал. – Она ещё сказала: он не помнит.

– Чего не помню?

– Не знаю. Она не сказала. Она сказала только: не помнит. И что это не его вина.

Ярема постоял. Ночь была очень тихая. Даже речка, казалось, притихла. Потом он пошёл дальше, и мальчишка пошёл за ним.

Они шли до самого рассвета. Ярема не чувствовал холода, хотя был в одной рубахе и стёганой безрукавке. Он чувствовал только бересту на груди и знак, выдавленный на ней костью: два крючка, сцепленные навсегда.

«Ты мне должен».

Он не знал, что должен. Но впервые за десять лет понял, что не сможет уйти на юг, к солевозам, пока не узнает.

Глава 2. Кривой Яр

В Ольшанах сапог для Митко не нашлось. Деревня стояла полупустая: из сорока дворов жили в девяти, остальные смотрели на дорогу чёрными окнами без ставен. Старуха у колодца сказала, что сапожник ушёл к Скраге в ополчение ещё летом и не вернулся, а сапоги его забрали воеводины люди вместе с кожей и колодками. Ярема купил у неё за две медные монеты пару старых лаптей и онучи. Митко обулся, прошёл по двору и сказал, что лапти лучше сапог, потому что не жмут.

– Ты сапог-то когда в последний раз носил? – спросил Ярема.

– Никогда, – честно ответил мальчишка.

Они поели у старухи похлёбки из репы и сушёных грибов. Старуха смотрела на Ярему, на его меч, на его руку и ничего не спрашивала. Только когда они уходили, сказала:

– На Кривой Яр идёте?

– Откуда знаешь?

– Больше тут некуда, – сказала старуха. – Дорога одна. Вперёд – Яр, назад – Сухой Брод. Только на Яру нынче нехорошо.

– Что нехорошо?

– Туман. Каждую ночь с Покрова. Встаёт от погоста и стоит до утра. Наши туда не ходят. Пастух ходил, корову искал, вернулся седой. Корову не нашёл.

– Что видел?

– Не говорит. Молчит и крестится. – Старуха вытерла руки о передник. – А вороны орут. С Покрова орут, как на пожар.

Ярема поблагодарил и пошёл. Митко шёл рядом, шаркая лаптями, и молчал до самого леса. Потом сказал:

– Я туман видел. Когда письмо брал.

– И что?

– Ничего. Он стоял, а я прошёл. Вороны сказали – можно.

– А пастуху не сказали?

– Пастух их не слышит, – просто ответил Митко.

Дорога шла через смешанный лес, потом через выгоревшее поле, потом опять через лес. Здесь, к северу от Ольшан, Пепельная смута прошлась особенно густо. Ярема помнил эти места другими: здесь были хутора, пасеки, мельница на ручье. Теперь от мельницы остался только каменный фундамент, обросший мхом, и ржавое колесо, торчащее из воды, как рёбра утопленника. Хутора сгорели. Пасеки разорили. Кто-то из жителей ушёл на юг, кто-то лёг в эту землю.

Ярема шёл и вспоминал Кленовец. Деревню, где они родились. Она стояла далеко отсюда, на западе, за рекой Свислой, и её тоже давно не было. Но здесь, в этих пустых полях, было что-то похожее.

Он вспомнил, как Данко учил его плавать. Брату было одиннадцать, ему – восемь. Данко завёл его на глубину по шею и сказал: «Плыви». Ярема заорал, нахлебался воды и пошёл ко дну. Данко вытащил его за волосы, отругал, отвёл на берег. А на следующий день снова завёл на глубину. И так неделю. К концу недели Ярема плавал.

«Ты мне потом должен будешь, – сказал тогда Данко. – Я тебя от реки спас семь раз».

«Шесть, – сказал Ярема. – В среду я сам выплыл».

«В среду ты за меня держался».

«Держался, но выплыл сам».

Они поспорили и подрались. Данко был сильнее, но Ярема упрямее. Кончилось тем, что мать разняла их и оттаскала обоих за уши. А вечером Данко нарисовал на заборе два крючка и

сказал: «Это мы. Сцепились и не расцепимся». Ярема спросил: «А если расцепимся?» Данко подумал и сказал: «Тогда один другого найдёт. Где бы ни был».

– Ты улыбаешься, – сказал Митко.

– Нет.

– Улыбаешься. Я видел.

– Тебе показалось.

– Мне никогда не кажется, – сказал мальчишка. – Мне иногда снится, это другое.

– А что тебе снится?

– Разное. – Митко пнул лаптем ком мёрзлой земли. – Чаще всего дорога. Иду, иду, а она не кончается. А по бокам вороны сидят и молчат. Это плохой сон. Хороший – когда они разговаривают.

– А брат мой тебе снился?

Мальчишка подумал.

– Не знаю. Может, и снился. Там один человек был, у костра. Весёлый. Пел что-то про кобылу, которая ушла к цыганам. Я слов не запомнил.

Ярема ничего не сказал. Он знал эту песню. «Ой, ушла моя кобыла, ушла кобыла за Свислу». Данко пел её всегда, когда рота стояла на привале и все были злые, голодные и мокрые. Пел нарочно противно, гнусаво, и через три куплета злые начинали смеяться. Ярема был уверен, что эту дурацкую песню во всех Марках знали только в Серой роте. Она умерла вместе с ротой.

Кривой Яр открылся после полудня. Сначала лес кончился, и дорога вышла на высокий берег над оврагом. Овраг был глубокий, с крутыми глиняными склонами, по дну его тёк ручей, а по склонам росли кривые сосны, будто их кто-то скрутил руками. От этих сосен и пошло название. На другой стороне оврага, на плоском холме, стоял погост. Деревни при нём давно не было: она сгорела ещё до смуты, в мор, и погост остался один, как сирота.

Ярема помнил это место. Помнил дождь и глину. Помнил, как вёз сюда телегу с гробом, как увязал в колее, как ругался на коня. Помнил, что тогда здесь жил сторож, старик Евсей, и он помог копать.

Теперь всё было другое. Ограда погоста повалилась. Кресты стояли косо, многие упали. Сторожка у ворот покосилась, крыша провалилась внутрь. И над всем этим, на каждом кресте, на каждой ветке кривых сосен, сидели вороны.

Их были сотни. Может быть, тысячи. Чёрные, неподвижные, нахохлившиеся. Они не кричали. Они молчали и смотрели на дорогу.

– Ого, – сказал Митко. – Вчера столько не было.

– А сколько было?

– Ну, десяток. Два десятка. А тут... – Он запнулся. – Они тебя ждали.

Ярема посмотрел на ворон. У него было чувство, что они его видят. Не так, как птицы видят человека, – как добычу или как опасность. А так, как видят люди: оценивают, считают.

– Сторож здесь живёт? – спросил он.

– Жил. Дед Евсей. Он прошлой зимой помер. Я его знал, он меня кормил. Его тут и похоронили, у ворот. Я сам ему крест ставил.

– Ты?

– Ну, не сам. С бабами из Ольшан. Они пришли, покопали, я крест держал.

Ярема спустился в овраг. Тропа была скользкая, глиняная, по ней давно никто не ходил. Внизу, у ручья, было холоднее, чем наверху. Вода в ручье бежала чёрная, торфяная, и от неё пахло железом. Ярема перешёл ручей по камням, Митко перепрыгнул. Они поднялись на другую сторону.

Вороны не взлетели. Ни одна. Ярема прошёл между первыми крестами, и вороны поворачивали головы ему вслед.

– Где? – спросил он.

– Там, – Митко показал. – В дальнем углу, под берёзой.

Ярема помнил берёзу. Тогда она была молодая, тонкая. Теперь выросла, раздалась, кора побелела. Под берёзой стоял крест, который он сам вытесал из дубового бруса. На кресте он тогда выжег ножом, раскалённым в костре, буквы. Он не умел писать, и старик Евсей показывал ему, как вывести каждую. Получилось криво: «ДАНКО БУСЕЛ. РОТА». Больше места не хватило.

Он подошёл к берёзе и остановился.

Могила была разрыта.

Не так, как разрывают воры, – сверху, лопатой, наспех, чтобы добраться до гроба и снять с мертвеца перстни. Здесь земля была выброшена наружу. Комья глины лежали вокруг ямы, будто их выталкивали снизу. Дёрн разошёлся пластами, корни берёзы, которые проросли сквозь могилу за десять лет, были порваны и торчали в стороны, белые, мокрые.

Ярема подошёл к краю и заглянул вниз.

Гроб лежал на дне. Тот самый, сколоченный из дверей сарая. Доски потемнели, но не сгнили: глина держит дерево. Крышка была откинута и висела на одном гвозде. Края её были расщеплены. Ярема спустился в яму, присел и потрогал щепки. Они были вывернуты наружу. Крышку выбили изнутри.

Гроб был пуст.

Не было костей. Не было праха. Не было даже обрывков одежды, в которой он хоронил брата: старой рубахи, порток, сапог, которые он снял с себя, потому что у Данко своих не осталось. На дне гроба лежала только глина и несколько воронова перьев.

Ярема сидел в могиле и смотрел на пустое дно. Он ничего не чувствовал. Совсем ничего. Только холод, поднимающийся от земли.

Потом пришла мысль, простая и глупая, как у ребёнка: а сапоги? Сапоги-то где? Он отдал брату свои сапоги, единственные, хорошие, с подковками на каблуках, а сам до самой весны ходил в обмотках и отморозил на правой ноге два пальца. Сапоги были не здесь. Ничего не было здесь. Будто он десять лет назад закопал пустой ящик, а потом десять лет носил в себе этот пустой ящик, и в нём тоже ничего не было. Ярема взял пригоршню глины со дна гроба, помял в пальцах и бросил. Глина была сухая сверху и мокрая внизу, как будто в ней долго лежало что-то тёплое.

– Ярема, – позвал сверху Митко. – Ты там живой?

– Живой.

– Вылезай. Тут на кресте что-то.

Ярема вылез. Руки у него были в глине, и он вытер их о штаны. Митко стоял у креста и показывал пальцем.

Под выжженными буквами, под словом «РОТА», кто-то нацарапал новый знак. Два крючка, сцепленные друг с другом. Царапины были свежие: дерево внутри светлое, без серого налёта. Знак был сделан не ножом. Слишком неровные края, слишком глубоко. Так царапают ногтем. Или костью.

Ярема положил ладонь на знак. Дерево было холодное.

– Он здесь был, – сказал Митко тихо.

– Кто?

– Ну... он. Брат твой. – Мальчишка не смотрел на него. – Вороны говорят, он вылез в ночь на Покров. Выбил крышку и вылез. Посидел на краю. Нацарапал знак. Потом ушёл в туман.

– Куда?

– Не знают. Вниз.

– Куда вниз?

– Они так говорят. «Вниз». Я не знаю, что это.

Ярема снял ладонь с креста. Солнце клонилось к закату, и тени от крестов вытягивались длинными чёрными полосами по жухлой траве. Вороны сидели неподвижно.

– Кто ещё приходил? – спросил он.

– В смысле?

– После него. Кто приходил к могиле?

Митко прислушался. Ворона на ближнем кресте, та, с белым пером, переступила лапами и хрипло каркнула один раз.

– Приходили люди, – сказал Митко. – Трое. Три дня назад. С собаками. Собаки смотрели в яму и выли. Один человек спускался вниз. Высокий, в рыжем плаще. Он ничего не взял. Он только понюхал гроб.

– Понюхал?

– Ну да. Как собака. Нагнулся и понюхал. А потом сказал: «Ушёл. Позовёт брата». И они уехали.

Ярема сжал зубы. Высокий в рыжем плаще. Ржа – это и есть рыжий цвет, ржавчина. Кирей Ржа, ловчий воеводы Скраги. Он был здесь три дня назад. Он знал, что Данко вылез из гроба, раньше, чем узнал Ярема. Он знал, что Данко позовёт брата.

– Почему он тебя не забрал? – спросил Ярема. – Если ты тут ночуешь?

– А я спрятался. В сторожке, под полом. Там лаз есть, дед Евсей его вырыл, от воеводиных сборщиков. – Митко помолчал. – Собаки меня не учуяли. Они странные, собаки эти. Они не нюхают землю. Они нюхают воздух. Как будто ищут не след, а... ну, не знаю. Что-то другое.

Пока не стемнело, Ярема зашёл в сторожку. Внутри пахло мышами и старой золой. Крыша провалилась над печью, и печь стояла под открытым небом, засыпанная листьями. В углу была лежанка, на ней – тряпьё, которое Митко, видно, сгрёб в гнездо. На стене, у двери, висела доска, вся в зарубках.

– Это дед Евсей считал, – сказал Митко. – Кого хоронил. Каждая зарубка – один.

Зарубок было много, сотни. Они шли рядами, и некоторые ряды были перечёркнуты наискось – целыми десятками. Ярема провёл пальцем по доске.

– Мор, – сказал Митко. – И смута. Он говорил, в смуту по шесть в день носили.

Ниже, отдельно от рядов, на доске было вырезано десять коротких чёрточек, а над ними – что-то вроде крючка. Неуклюжего, одинокого.

– А это?

– Это про твоего. – Митко шмыгнул носом. – Дед каждый год на Покров ходил к берёзе и клал на могилу камень с солью. И чёрточку резал. Я спрашивал, зачем. Он сказал: этот лежит неспокойно, он должник. Или ему должны. Сказал, гроб у него гудит, если ухо приложить. Я не верил. Он меня один раз водил, я приложил – ничего не гудит.

– А дед слышал?

– Дед говорил – слышит. Он старый был, может, у него в ушах гудело.

Ярема долго смотрел на десять чёрточек. Он вдруг вспомнил то, что забыл начисто. Тот день, дождь, глину. Как они со стариком опускали гроб на верёвках, и Евсей, мокрый до нитки, выпрямился, утёр бороду и сказал: «Лёгкий у тебя брат, сынок. Ты точно его положил? Не пустой ли?» А Ярема, ещё больной, с незажившей раной, схватил старика за грудки и чуть не ударил. Евсей не испугался. Он только посмотрел на него и сказал: «Ну, ну. Положил, значит, положил. Я так, по-стариковски».

Ярема тогда отпустил его и не извинился. А потом уехал и десять лет не возвращался. А старик десять лет клал на могилу соль.

– Он хороший был, дед Евсей, – сказал Митко, будто прочитал его мысли.

– Хороший, – сказал Ярема. Он вынул из кошеля монету, серебряную, одну из тех, что вытряс из купцова сапога, и положил на печь, под листья. Митко посмотрел на него с удивлением.

– Это зачем? Дед же помер.

– Я ему должен, – сказал Ярема. – За соль.

Он сказал и сам испугался этого слова. Оно вышло легко, будто давно лежало на языке.

Солнце село. Небо над оврагом стало зелёным, потом серым. С ручья потянуло холодом. И вдруг Ярема заметил, что вороны на крестах сидят уже не в сумерках, а в тумане.

Туман поднимался от земли. Не от ручья, не из оврага – от самих могил. Он выползал из трещин в глине, из-под упавших крестов, из разрытой ямы под берёзой. Он был белый, плотный, как овечья шерсть, и стелился низко, по колено. Он не двигался по ветру. Ветра не было. Он двигался сам.

– Ярема, – сказал Митко, и голос у него был другой, тонкий. – Надо уходить. В сторожку.

– Почему?

– Вороны говорят. Надо уходить. Сейчас.

Ярема не двинулся. Он смотрел на туман. Туман подполз к его сапогам и остановился, будто наткнулся на стену. Потом обтёк его справа и слева и пошёл дальше. А там, где он прошёл, в жухлой траве появились следы.

Это были не следы ног. Это были вмятины, как будто кто-то тяжёлый ступал по земле, но ступни у него не было – только круглая, ровная, гладкая вмятина. Одна. Вторая. Третья. Они шли от разрытой могилы к воротам погоста, мимо Яремы, совсем рядом.

И Ярема услышал шаги.

Глухие, мерные, будто кто-то бил в землю обмотанным в тряпку молотом. Тук. Тук. Тук. Шаги шли мимо, и Ярема ничего не видел, кроме тумана и вмятин, но чувствовал – как чувствуют чужой взгляд в спину, – что совсем рядом с ним идёт кто-то очень большой и очень холодный.

Ярема положил руку на меч.

– Не надо, – прошептал Митко. – Не надо, Ярема. Он не за тобой. Он идёт к Евсею. Он каждую ночь ходит. Вороны говорят, он залог ищет.

– Какой залог?

– Не знаю. Пожалуйста. Пойдём.

Шаги удалились к воротам. Туман клубился там, у сторожки, над свежей могилой старого Евсея, где Митко с бабами из Ольшан ставил крест. Ярема видел, как туман сгустился над этой могилой, и как крест на ней качнулся, хотя ветра по-прежнему не было.

Ярема медленно вынул меч. Клинок вышел из ножен тихо – он сам точил его каждое утро десять лет и смазывал салом. В тумане сталь блеснула тускло, как рыбья чешуя.

– Ярема, – снова сказал Митко. – Не надо.

– Он там. У сторожки. Куда ты меня звал прятаться.

Митко замолчал. Ярема слышал, как он дышит – часто, сипло.

– Тогда что делать? – спросил мальчишка.

– Ждать.

Они ждали. Туман стоял. Шагов больше не было. Над могилой Евсея крест перестал качаться. Вороны на крестах сидели, нахохлившись, и молчали. И Ярема понял, что больше не может стоять и ждать, как не мог никогда. Это всегда было делом Данко – ждать, хитрить, говорить. Его делом было идти.

Он пошёл к воротам. Туман расступался перед ним, неохотно, как вода перед веслом. Митко вцепился ему в рукав и пошёл следом.

У могилы старого Евсея никого не было. Только земля на ней была вспучена, как от крота, и посередине, у самого креста, лежало что-то маленькое и блестящее. Ярема нагнулся и поднял. Это была медная монета. Старая, стёртая, с дыркой посередине – такие клали покойникам на глаза в здешних краях.

– Он её не взял, – прошептал Митко. – Залог не взял.

– Почему?

– Потому что ты подошёл.

И тогда за спиной у Яремы, у разрытой могилы под берёзой, раздался звук. Не шаги. Голос. Глухой, низкий, без выражения, будто говорил не человек, а пустая бочка.

– Бусел, – сказал голос. – Ярема Бусел. Подойди. Отдай залог.

Ярема медленно обернулся.

Туман над могилой брата стоял столбом, выше человеческого роста, выше берёзы. И в этом столбе было что-то – огромное, серое, без лица.

Глава 3. Мытарь

Оно не имело лица. Это было первое, что Ярема понял, и понял не глазами. Глазами он видел только серую громаду в тумане, похожую на человека, обмотанного мокрой холстиной с головы до ног. Плечи – широкие, покатые. Руки – длинные, до колен. Голова – круглая и гладкая, как валун на дне реки. Но там, где у человека бывает лицо, не было ничего. Ни впадин для глаз, ни носа, ни рта. Только серая ткань, натянутая туго, как на барабане.

А голос шёл оттуда всё равно.

– Бусел, – повторило оно. – Отдай залог. Срок близок.

Ярема стоял с мечом в руке у могилы старого Евсея. Митко прятался у него за спиной, вцепившись в пояс. Вороны на крестах молчали.

– Кто ты? – спросил Ярема. Голос у него вышел хриплый, но твёрдый. Он давно научился говорить твёрдо, даже когда внутри всё сжималось. Капитан Будимир Кос когда-то сказал ему: «Голос – это половина щита. Дрожит голос – дрожит рука».

– Я мытарь Нижнего Торга, – ответило серое. – Я беру просроченное. Ты должен. Твой долг записан. Он переходит на тебя.

– Какой долг?

– Залог Данко Бусела. Кости его взяты. Кости – это половина. Вторая половина – ты.

– Я никому не должен.

Серое помолчало. Туман вокруг него медленно вращался, будто его мешали невидимой ложкой.

– Все так говорят, – сказало оно. – Живые не помнят своих долгов. Мёртвые помнят. Подойди.

Ярема не двинулся. Он чувствовал, как от серой громады тянет холодом – не зимним, не речным, а каким-то другим, глубоким, как из колодца. Холод этот проникал под рубаху и ложился на грудь, туда, где лежала береста.

– Он письмо чует, – прошептал Митко. – Ярема, он письмо чует. Не отдавай.

– И не собирался.

Мытарь сделал шаг. Земля под ним промялась круглой вмятиной. Ещё шаг. Ярема поднял меч.

– Стой.

Мытарь не остановился. Он шёл медленно, но неотвратимо, как идёт вода в половодье. Когда до Яремы оставалось шагов пять, он поднял руку. Рука была длинная, обмотанная той же серой тканью, и на конце её не было пальцев – только гладкий, тупой обрубок, как у варежки.

Ярема ударил.

Он ударил хорошо: наискосок, снизу вверх, всем весом, как учили в роте рубить конника по руке. Клинок вошёл в серую ткань и прошёл насквозь. Не было ни сопротивления, ни крови, ни звука. Будто он рубанул по туману. Рука мытаря отделилась от плеча, повисла в воздухе, а потом снова приросла, как приращивается к ковшу вода, если зачерпнуть её и вылить обратно.

Мытарь не заметил удара. Он протянул руку дальше и коснулся груди Яремы.

Холод ударил, как кулак. У Яремы перехватило дыхание. Он почувствовал, как что-то тянется изнутри, из-под рёбер, оттуда, где под Колоднем вошло копьё. Будто тонкая нить, привязанная к самому сердцу, натянулась и потащила его вперёд, к серой громаде. Ноги у него подогнулись. Меч выпал.

Он увидел – не глазами, а как во сне – темноту. Соляные стены, блестящие в свете факела. Чьи-то руки, мокрые от крови, держат его за плечи. И голос, близко-близко, у самого уха, голос брата: «Держись, Ярема. Держись, дурак. Я договорюсь. Я всегда договариваюсь».

– Соль! – заорал Митко. – Ярема, соль!

Что-то белое полетело через плечо Яремы и рассыпалось по серой руке мытаря. Мытарь дёрнулся. Впервые за всё время он издал звук – не голосом, а всем телом, как гудит колокол, если по нему ударить кулаком. Рука отпрянула. Нить, тянувшая Ярему за сердце, ослабла.

Ярема упал на колени, хватая ртом воздух. Митко стоял рядом, растрёпанный, с раскрытым кожаным мешочком в руке, и сыпал из него соль горстями прямо на серую громаду. Там, где соль касалась ткани, ткань темнела и дымилась, будто на неё лили кипяток.

– Это деда, – выдохнул Митко. – Дедова соль. Я из сторожки взял, она под печкой стояла, он её на могилы...

Мытарь отступил. Он не бежал – он отходил, медленно, по шагу, назад к разрытой могиле. Туман вокруг него стягивался, густел.

– Мальчишка, – сказало серое. – Ты слышишь ворон. Ты вестник. Вестников мы не трогаем. Но не мешай расчёту.

– А ты не трогай его! – крикнул Митко срывающимся голосом. – Он ещё не дошёл! Срок до Мёрзлой ночи! Вороны сказали – до Мёрзлой!

Мытарь замер.

– Вороны правы, – сказал он после долгого молчания. – Срок до Мёрзлой ночи. Я пришёл рано. Меня позвал запах. Тут пахнет должником, который бежит.

– Я не бегу, – прохрипел Ярема. Он поднялся с колен, нашёл на земле меч и поднял. – Я иду.

– Куда?

– К Колодню. Он позвал.

Мытарь долго смотрел на него своим лицом без лица.

– Это хорошо, – сказал он наконец. – Если дойдёшь, долг будет принят. Если не дойдёшь, долг будет взят. Так или иначе – расчёт.

– А если я заплачу?

– Чем?

– Не знаю. Деньгами. Что там у вас берут?

Мытарь издал звук, похожий на смешок, – или на то, как скрипит под ногой лёд.

– На Торге берут всё, – сказал он. – Деньгами – никогда.

Туман над могилой схлопнулся, как ладони. Серая громада ушла в него, будто нырнула в воду. Ещё мгновение туман стоял столбом, потом опал, растёкся по земле и стал таять. Через минуту на погосте было ясно и пусто. Над оврагом светила луна. Вороны на крестах переминались с лапы на лапу.

Ярема сел прямо на землю, привалившись спиной к кресту старого Евсея. Его трясло. Руки, ноги, челюсть – всё ходило ходуном, и он не мог это остановить. Он не дрожал так ни разу с тех пор, как очнулся на телеге Гната. Даже в Лисьем логу, когда шестеро с топорами вышли из леса.

Митко сел рядом. Он прижимал к груди пустой мешочек из-под соли.

– Ты как? – спросил мальчишка.

– Холодно.

– Это он тебя тронул. Вороны говорят, кого мытарь тронет, тому неделю холодно. – Митко помолчал. – Ты видел что-нибудь? Когда он тебя тронул?

Ярема не ответил сразу. Он смотрел на свои руки. На левой, трёхпалой, под ногтями была глина с могилы брата.

– Видел, – сказал он наконец. – Соль. Стены из соли. Это под Колоднем, выработки. Там есть старые ходы, ещё от тех, кто соль копал до крепости. Нас туда загнали в последний день. Я был ранен.

– А ещё?

– Брата. Голос. Он сказал: «Я договорюсь».

– С кем?

– Не знаю. – Ярема закрыл глаза. – Я этого не помню. Я десять лет думал, что помню всё, что было до лихорадки. А это – не помню.

Митко шмыгнул носом.

– Вороны говорят, ты не помнишь, потому что за это заплачено.

– Чем заплачено?

– Памятью. Твоей. – Мальчишка поёжился. – Они так говорят. Я не понимаю половину.

Ярема открыл глаза и посмотрел на ворону с белым пером. Она сидела на перекладине креста прямо над ним.

– Спроси её, – сказал он. – Спроси, что такое Нижний Торг.

Митко поднял голову. Ворона молчала, но мальчишка кивал, иногда хмурился, один раз даже сказал «чего?» вслух. Это длилось долго. Наконец он повернулся к Яреме.

– Она говорит, это там, где мёртвые служат. Те, которым должны. Или которые должны сами. Они не могут уйти за Межу, пока счёт не сведут. Поэтому служат на Торге. Там торгуют... – Он запнулся. – Она сказала «всем, кроме денег». Как тот, серый.

– А где этот Торг?

– Внизу. Под курганами. Под старыми местами, где много народу легло. Она говорит, под Колоднем тоже есть вход. Там много легло.

– Вся рота, – сказал Ярема.

Митко кивнул.

– А ещё она говорит, тебе надо в Вежин.

– В Вежин? – Ярема чуть не рассмеялся. – Это город Скраги. Его ловчий хочет меня поймать. Мне в Вежин надо так же, как курице к лисе в нору.

– Она говорит, в Вежине есть отпевальщица. Которая слышит мёртвых через свечу. Она говорит, без неё ты не найдёшь вход. И не поймёшь, что от тебя хотят.

– Ты слышишь ворон. Ты и найдёшь вход.

– Я слышу ворон, – сказал Митко. – А вороны под землю не летают. Они только до порога. А дальше – надо слышать мёртвых. Это другое.

Ярема помолчал. Луна поднималась над оврагом. Где-то в лесу ухнула сова, и вороны на крестах беспокойно зашевелились.

– Отпевальщица, – сказал он. – Как её звать?

Митко прислушался.

– Чаруша, – сказал он. – Её выгнали из города. Она живёт за стеной, у живодёрни.

– Почему выгнали?

– Ворона не знает. Говорит – за то, что услышала не того.

Ярема поднялся. Колени ещё дрожали, но уже меньше. Он убрал меч в ножны и посмотрел на разрытую могилу под берёзой. Пустой гроб, расщеплённая крышка, вороньи перья на дне.

– Пойдём в сторожку, – сказал он. – Переночуем. Утром выйдем.

– В Вежин?

– В Вежин. Только не по дороге.

– А как?

– Через Гнилой лес и по реке. Там скрагины люди не ходят. Там вообще никто не ходит.

– Почему?

– Потому что там гнило, – сказал Ярема. – Пойдём.

В сторожке он развёл огонь в провалившейся печи, на старых листьях, подложив щепок от развалившейся лавки. Дым уходил в дыру в крыше. Митко устроился на лежанке, в своём гнезде из тряпья, закутавшись в Яремин плащ. Ярема сидел у огня и точил меч. Он всегда

точил меч, когда не мог заснуть. Камень шёл по стали ровно, мерно: вжик, вжик. Этот звук его успокаивал. Он помнил, что брат терпеть не мог этот звук и всегда швырял в него сапогом.

«Ты его до дыр сточишь, – говорил Данко. – Будешь рубить враги, а у тебя в руке одна рукоять».

«Лучше острый, чем ржавый».

«Лучше живой, чем острый, – говорил Данко. – Ложись спать».

Ярема перестал точить. Он положил меч на колени и посмотрел на огонь.

– Митко, – сказал он. – Ты не спишь?

– Нет.

– Почему ты мне это принёс? Письмо. Ты мог отдать его тем двоим. Тебе бы заплатили. Пять серебром – ты таких денег в жизни не видел.

Мальчишка помолчал.

– Вороны сказали – тебе, – ответил он наконец.

– Ты всегда делаешь, что вороны говорят?

– Всегда.

– Почему?

Митко повернулся на лежанке. В темноте его лицо было бледное, почти белое.

– Потому что я один раз не сделал, – сказал он тихо. – Мне было шесть. Мы жили в Пустошке, с мамкой. Вороны сказали: уходите, идут. Я мамке сказал. Мамка посмеялась и не пошла. Сказала, глупости. А я тоже не ушёл. Потому что мамка не пошла. А ночью пришли. Скрагины, или ещё чьи, не знаю. Всю Пустошку сожгли. Я под мостом сидел, в воде. А мамка... – Он замолчал. – С тех пор я всегда делаю, что они говорят.

Ярема долго смотрел на огонь.

– Ты не виноват, – сказал он. – Тебе было шесть.

– Я знаю. Все говорят. – Митко отвернулся к стене. – Только мамка всё равно мне снится. Она не злится. Она просто стоит и смотрит. И я не знаю, что ей сказать.

Ярема не ответил. Он не знал, что можно ответить на такое. Он сам десять лет не видел брата во сне. Ни разу. Он думал – это потому, что он сильный. Что он отрезал всё, как отрезают гангрену. Теперь он не был уверен.

Митко долго молчал. Потом спросил, не поворачиваясь:

– А тебе брат снится?

– Нет.

– Никогда?

– Никогда. Десять лет.

– Это плохо, – серьёзно сказал мальчишка. – Дед Евсей говорил: если покойник не снится, значит, он далеко. Или сердится. Или ему не до тебя.

– А ты как думаешь?

Митко повернулся на лежанке и посмотрел на него поверх плаща.

– Я думаю, ему было до тебя. Раз он письмо послал. Просто он, может, не мог присниться. Может, там, где он, нельзя сниться. Или дорого.

Ярема хмыкнул. Всё у них там было дорого, у этих мёртвых. Слова, письма, сны.

– Спи, – сказал он. – Завтра долго идти.

– А ты?

– И я.

– Врёшь, – сказал Митко. – Ты точить будешь.

Ярема не ответил. Мальчишка вздохнул, отвернулся к стене и через минуту засопел. Ярема посидел ещё, глядя на угли. Потом подумал, что этот ничейный мальчишка за один день узнал его лучше, чем кто-нибудь за десять лет.

Огонь догорал. Ярема подкинул щепок и снова взял точильный камень. Вжик. Вжик.

– Ярема, – позвал Митко из темноты.

– Что?

– Не точи. Спать мешает.

Ярема посмотрел на камень в руке. Потом положил его в мешок.

– Ладно, – сказал он. – Спи.

Он лёг на пол у печи, подложив под голову мешок, и долго смотрел в дыру в крыше, где были видны звёзды. Холод от касания мытаря не уходил. Он лежал на груди, как плоский камень, и Ярема чувствовал под ним, глубже, ту самую нить, привязанную к сердцу. Она больше не тянула. Но она была.

Он думал о соляных стенах и голосе брата. «Я договорюсь». Данко всегда договаривался. С капитаном, с маркитантами, с девками, с хозяевами постоялых дворов. Он умел заговорить зубы кому угодно. Ярема всегда думал, что это ничего не стоит – просто язык подвешен.

А что если стоит?

Что если под Колоднем, в темноте, с умирающим братом на руках, Данко договорился с кем-то, кто не берёт деньгами?

Ярема заснул под утро. Ему снился брат. Впервые за десять лет. Данко сидел на краю разрытой могилы под берёзой, болтал ногами, как в детстве на мостках у реки, и рисовал пальцем в глине два крючка. Он не оборачивался. Он только сказал, не поворачивая головы:

«Долго ты, Ярема. Я заждался».

И Ярема во сне хотел спросить, что он должен, но не смог открыть рта.

Утром они вышли рано, едва посерело. Митко, не спрашивая, набрал в мешочек соли из дедовой кадушки под печью – там оставалось на самом дне, серой, слежавшейся, с мышиным помётом. Ярема не возражал. Он вчера видел, что делает эта соль, и думал, что неплохо бы её иметь побольше.

Гнилой лес начинался за оврагом, в двух часах пути. Сначала это был обычный ольшаник, сырой и низкий, потом земля под ногами стала мягче, деревья – выше и темнее, и в воздухе появился сладковатый запах, от которого першило в горле. Здесь в смуту стояли лагерем люди воеводы Брячислава, соседа Скраги, и здесь же их всех положил мор. Хоронить было некому. Тела остались в землянках, и лес вырос сквозь них. Теперь местные говорили, что в Гнилом лесу деревья растут из людей. Это было не совсем так, но Ярема, проходя мимо выворотня, из-под корней которого белели рёбра, не стал бы спорить.

К полудню они вышли на старую гать через болотце, а за гатью увидели дубы.

Их было пять, высоких, старых, стоящих кругом на сухом пригорке. Когда-то здесь, наверное, было капище, потому что в середине круга лежал плоский камень с выбитой на нём чашей. Теперь на каждом дубе висел человек.

Висели они не на верёвках, а на цепях, прикованные за пояс к стволу, чтобы не упали, когда истлеют. На груди у каждого была прибита доска. Ярема подошёл ближе. Он не умел толком читать, но цифры знал: роте нужно было считать жалованье.

– Что там написано? – спросил Митко. Он стоял позади и смотрел не на мертвецов, а в сторону, на кусты.

– Цифры. – Ярема прищурился. – Двенадцать. Восемь. Двадцать три. Это недоимка. Сколько не заплатили в казну.

– Это скрагины?

– Его знак на досках. Ворона с ключом. – Ярема отступил. – Я слышал, что он так делает. Не верил. Думал, болтают.

Один из повешенных был совсем мальчишка, чуть старше Митко. На его доске было написано «три». Три медных монеты. Ярема молча смотрел на эту доску. Он вдруг вспомнил, что вчера вытряс из купца Пахома пять серебром сверху, за телегу, которую тот потерял сам. Пять серебром – это пятьдесят раз по три.

– Ярема, – сказал Митко. – Вороны говорят, они тоже не ушли.

– Кто?

– Эти. На дубах. Они должники. Их держит. – Мальчишка поёжился. – Вороны говорят, Скрага таких много держит. Специально.

– Зачем?

– Не знают. Говорят: он считает.

Ярема посмотрел на ворону с белым пером, которая всё утро летела за ними, перескакивая с ветки на ветку. Она сидела теперь на нижнем суку одного из дубов, над доской с цифрой «три».

Он отвязал от пояса кошель, вынул три медные монеты и положил их на плоский камень с чашей. Ничего не произошло. Ни тумана, ни звука. Только ветер прошёл по верхушкам дубов, и цепи тихо звякнули.

– Не взяли, – сказал Митко.

– Значит, не так платят, – сказал Ярема и забрал монеты обратно. – Пошли. До Вежина ещё два дня.

Они ушли, и до самого вечера Ярема не сказал ни слова. А вечером, у костра, Митко спросил, о чём он думает, и Ярема ответил честно, хотя сам удивился, что отвечает:

– О том, сколько я вытряс из людей за десять лет. И кому из них это стоило жизни.

Глава 4. Вежин

Вежин стоял на высоком берегу реки Вежи, там, где она делала петлю, прежде чем уйти на юг к Колоди. Город был старый, каменный в середине и деревянный по краям, как пирог с начинкой. Посередине на холме – детинец воеводы, с тремя башнями и стеной из серого известняка. Вокруг детинца – посад, купеческие дворы, торговая площадь, церковь с позолоченным куполом, который видно было за десять вёрст. А вокруг посада – слободы, где жили кожевники, гончары, бондари, и за слободами – вторая стена, деревянная, с земляным валом.

Ярема бывал здесь до смуты. Тогда Вежин был шумный, грязный и весёлый. По реке ходили струги с хлебом и солью, на площади торговали всем – от сукна до медвежьих шкур, по вечерам в кабаках играли гусляры, и стража на воротах брала с приезжих одну медную монету и смотрела сквозь пальцы на всё остальное.

Теперь он подходил к Вежину с юга, от реки, и видел другое.

Первое, что он увидел, – виселицы. Они стояли вдоль дороги к воротам, по обе стороны, на равном расстоянии друг от друга, как вёрстовые столбы. Ярема насчитал двадцать две. На девяти висели люди. На всех – доски с цифрами. На некоторых – ворона с ключом, знак Скраги, выжженный прямо на лбу.

– Он любит, чтобы было видно, – сказал Ярема.

Митко ничего не ответил. Он шёл, опустив глаза, и смотрел себе под ноги.

Второе – очередь у ворот. Длинная, сотни в две людей, телеги, волы, козы, бабы с узлами. Очередь двигалась медленно: каждого обыскивали, расспрашивали, с каждого брали мзду. Стражники были в одинаковых чёрных кафтанах с вышитой на груди вороной. Не городские ополченцы, а воеводины люди, наёмные, сытые. Ярема узнавал этих по повадкам: так стоят те, кто служит не за землю, а за деньги, и знает, что в любой момент может перейти к тому, кто заплатит больше.

Третье – доска на воротах.

Ярема увидел её, когда очередь подвинулась и он подошёл шагов на тридцать. Доска была прибита к створке ворот, рядом с другими – розыскными листами, указами, тарифами пошлин. Но эта была новая, свежая, ещё светлая, и на ней был нарисован углём человек. Рисунок был неумелый, но Ярема узнал себя. Короткая борода. Шрам через бровь. И левая рука, нарочно нарисованная крупно, с тремя пальцами.

Под рисунком было написано. Митко прочитал вслух, шёпотом – он, оказывается, умел читать, научился у деда Евсея по надгробиям:

– «Ярема Бусел, наёмник, бывший Серой роты. Беглый должник воеводы. Кто укажет – пять серебром. Кто приведёт живым – двадцать. Мёртвого не брать».

– Мёртвого не брать, – повторил Ярема. – Интересно.

– Почему интересно?

– Потому что обычно пишут наоборот. Живого или мёртвого. А тут – только живого. Значит, я ему живой нужен. – Он отступил из очереди, потянув Митко за собой. – Пошли отсюда.

Они ушли с дороги в кусты у реки.

Мимо прогрохотала телега, гружённая мешками. За ней шли двое стражников в чёрных кафтанах, лениво переговариваясь.

– …опять ловчий своих псов по городу водил, – говорил один. – Ночью. По всем дворам. Нюхали.

– Чего нюхали-то?

– А шут его знает. Кладбище, говорят, Мартыновское обошли кругом три раза. Псы выли. Потом к реке пошли, к живодёрне. Ловчий постоял там, постоял, плюнул и вернулся. Сказал – рано.

– Чего рано?

– Не сказал. Он никогда не говорит. – Стражник понизил голос. – Мне кум из детинца говорил, воевода с ним каждую ночь запирается. Вдвоём. И книгу какую-то читают. Кум говорит, в книге той не буквы, а одни цифры.

– Цифры и я читать умею, – засмеялся второй.

Они прошли. Ярема переглянулся с Митко. Мальчишка тоже слышал.

– Он к Чаруше ходил, – прошептал Митко. – Ловчий. Ночью.

– Значит, она ему для чего-то нужна, – сказал Ярема. – Или он ждёт, кто к ней придёт.

– Тогда зачем мы к ней идём?

– Затем, что ворона сказала. – Ярема поднялся из кустов. – А ты всегда делаешь, что вороны говорят. Вот и я попробую. Посмотрим, кто из нас дольше проживёт. Ярема сел на корточки за ивой и стал смотреть на стену.

– Беглый должник воеводы, – сказал Митко. – Ты ему что-то должен?

– Ничего. Я его в глаза видел два раза. Первый – когда он нанимал роту. Второй – когда мы уходили на Колодень. Он стоял на крыльце и махал платком.

– Тогда почему должник?

– Не знаю. – Ярема сплюнул. – Но что-то мне подсказывает, что тот серый, на погосте, знает.

Он смотрел на стену. Деревянная, высокая, с заострёнными брёвнами наверху, но старая: там, где вал размыло дождями, брёвна покосились. Через такие стены лазили всегда. Вопрос был только в том, где караулы.

– Где живёт отпевальщица? – спросил он. – Ворона сказала – у живодёрни. Живодёрня всегда за городом, ниже по реке, чтобы вонь не шла. Значит, нам и в город не надо.

– Ворона говорит, ниже по реке, – подтвердил Митко. – За Кожевенной слободой. Где ров кончается.

Они пошли берегом. Река Вежа здесь была широкая, медленная, бурая от глины. По ней плыли щепки, листья, какой-то мусор. Ниже по течению, за поворотом, начиналась Кожевенная слобода, и тут уже запах был такой, что Митко зажал нос. Кожевники вымачивали шкуры в ямах с известью и мочой, а потом мыли их прямо в реке. Вода у берега была жёлтая и пенилась.

Посреди слободы, у общего колодца, им пришлось остановиться: дорогу перегородила телега с мокрыми шкурами, у которой лопнул тяж. Возница ругался, бабы с вёдрами ругались на возницу, и никто ничего не делал. Ярема опустил голову пониже и встал у забора, ожидая, пока растащат. Тут его и окликнули.

– Бусел?

Голос был женский, тихий. Ярема медленно повернулся. У калитки стояла немолодая баба в кожаном переднике, с руками, жёлтыми по локоть от дубильного раствора. Лицо широкое, рябоватое, в морщинах. Ярема её не узнал.

– Обознались, – сказал он.

– Не обозналась. – Баба оглянулась на колодец и шагнула ближе. – Я Кулиха. Тимоши Кулика вдова. Из твоего десятка, помнишь? Рыжий, заикался. Ты его ещё учил топор держать, он всё по пальцам себе бил.

Ярема помнил. Тимофей Кулик, рыжий, заикающийся парень из-под Вежина. Он погиб на третий день осады, на стене, от стрелы в глаз. Ярема сам стаскивал его вниз.

– Помню, – сказал он. – Прости. Я тебе не приезжал рассказать.

– Мне Гнат рассказал. Обозный. Он тогда всех вдов объехал, кого знал. – Кулиха вытерла руки о передник, хотя они от этого чище не стали. – Ты не бойся. Я тебя не продам. Мне твоих

двадцати серебром не надо, я и так проживу. А ты вот что знай. Весной воеводины люди ходили по слободам. Искали вдов Серой роты. Всех, кого найдут.

– Зачем?

– Грамоты скупали. Ну, долговые. Помнишь, воевода роте жалованье обещал, а потом не заплатил? Каждому выписали бумагу: должен воевода столько-то. У меня Тимошина бумага лежала, за божницей. Восемь серебром. Пришёл ихний приказчик, говорит: продай за две медных. Всё равно, говорит, не получишь, а так хоть что-то. Я и продала. Дура. – Кулиха покачала головой. – Они у всех скупили. У Марфы, у Евдохи, у Ганки Сидоровой. А на что воеводе свои же долги скупать? Он их и так не платил.

Ярема молчал. Он не знал ответа.

– Я думала, может, ты знаешь, – сказала вдова. – Раз тебя ищут.

– Не знаю, – сказал Ярема честно. – Но узнаю.

Кулиха кивнула. Потом посмотрела на Митко и вдруг сунула ему в руку краюху хлеба, которую держала под передником.

– Ешь, сиротка. – И Яреме, уже отворачиваясь: – Тимоша тебя любил, Бусел. Говорил, ты строгий, но не злой. Не стань злым.

Она ушла за калитку. Телегу наконец растащили. Ярема ещё постоял у забора, глядя ей вслед, потом двинулся дальше.

– Зачем воеводе свои долги? – спросил Митко с набитым ртом.

– Затем, что долг – это не только деньги, – сказал Ярема. Он и сам не знал, откуда пришли эти слова. – Это ещё и запись. Кто кому. И если собрать все записи в одни руки...

Он не договорил. Мысль ускользнула, как рыба из ладоней.

За слободой, на отшибе, стояла живодёрня – длинный сарай с плоской крышей, загон, куча костей, над которой кружили вороны. Обычные вороны, серые, крикливые. Митко поглядел на них и покачал головой.

– Эти глупые, – сказал он. – С ними не поговоришь. Они только про еду.

За живодёрней, ещё дальше, у самой реки, почти в камышах, стояла лачуга. Ярема даже не сразу её заметил: она была сложена из плавника и обмазана глиной, крыша покрыта камышом, а над крышей не шёл дым. Перед лачугой на шесте висел череп. Лошадиный, белый, с пустыми глазницами. В глазницы кто-то вставил огарки свечей.

– Здесь, – сказал Митко.

Ярема подошёл к двери. Двери не было – только занавеска из мешковины. Он постучал о косяк.

– Есть кто?

Тишина.

Он постучал ещё раз. Потом отодвинул занавеску и заглянул.

Внутри было темно и тесно. Пахло воском, горелым жиром и ещё чем-то сладким и тяжёлым, от чего кружилась голова. По стенам висели пучки трав, связки сушёных грибов, какие-то кости на ниточках. На столе, грубо сколоченном из досок, стояли свечи – десятки свечей, высоких и низких, толстых и тонких, жёлтых и серых. Ни одна не горела.

В углу на лежанке кто-то лежал, накрывшись с головой овчиной.

– Эй, – сказал Ярема. – Я ищу Чарушу. Отпевальщицу.

Овчина не шевельнулась.

– Мне сказали, она слышит мёртвых. Мне нужно, чтобы она послушала одного.

– Пошёл вон, – сказала овчина. Голос был женский, молодой, хриплый, как после долгой болезни или долгой попойки.

– Я заплачу.

– Все платят. Пошёл вон.

– Я заплачу серебром.

Овчина помолчала. Потом откинулась. Под ней лежала девушка – лет двадцати пяти, не больше. Тощая, как жердь, с острыми скулами, с тёмными волосами, остриженными коротко и неровно, будто стригли ножом в темноте. Глаза у неё были светлые, почти белые, и красные от бессонницы. На шее – след от верёвки: старый, побелевший, широкий, как ошейник.

Она посмотрела на Ярему. Потом на его руку. Потом на Митко, который выглядывал из-за его плеча.

– Ты Бусел, – сказала она. Не спросила.

– Почему все это знают? – вздохнул Ярема.

– Потому что твоя рожа на воротах висит. И на площади. И у моста. – Девушка села, свесив босые ноги с лежанки. – Двадцать серебром за живого. Я могла бы купить себе дом в слободе.

– Могла бы.

– И что мне мешает?

– Ничего, – сказал Ярема. – Только ты бы тогда уже орала. А ты лежишь под овчиной и гонишь меня. Значит, не хочешь.

Девушка усмехнулась. Усмешка у неё была злая, кривая.

– Может, я ленивая.

– Может. – Ярема вошёл и сел на чурбак у стола, не спрашивая разрешения. – Ты Чаруша?

– Допустим.

– Мне сказали, тебя выгнали из города за то, что ты услышала не того.

Девушка перестала усмехаться.

– Кто сказал?

– Ворона.

Она посмотрела на Митко. Долго, внимательно. Потом сказала:

– Вестник. Давно у меня вестников не было. – Она встала, подошла к мальчишке и, прежде чем Ярема успел что-то сказать, взяла его за подбородок и повернула лицо к свету из двери. – Метка на виске. Вот тут, видишь? Белое пятнышко. Это когда тебя ворона в детстве клюнула?

– Не помню, – сказал Митко.

– Это она тебе голос отдала. – Чаруша отпустила его. – Ладно. Садитесь, раз уж пришли. Только ничего не трогайте. И не задувайте свечи, если зажгу. Задуешь – останешься тут с тем, кого позвала, один на один.

Она вернулась на лежанку, подобрала ноги и обхватила колени руками.

– Ну? Кого слушать?

– Брата, – сказал Ярема. – Данко Бусела. Он умер десять лет назад под Колоднем. Позавчера он вылез из могилы и прислал мне письмо.

Он вынул бересту и протянул ей. Чаруша не взяла. Она посмотрела на бересту издалека, и Ярема увидел, как у неё дёрнулась щека.

– Костяная почта, – сказала она тихо. – Это с Торга.

– Ты знаешь про Торг?

– Все отпевальщицы знают. – Она обхватила колени крепче. – Мне бабка говорила: если пришло с Торга, не трогай. Сожги и пепел в реку. И молись, чтобы второго не пришло.

– Почему?

– Потому что письмо с Торга – это вызов. Счёт. Мёртвый может послать одно за десять лет, и платит за него памятью. Своей памятью, понимаешь? Он забывает что-то, чтобы тебе написать. – Чаруша посмотрела на Ярему. – Твой брат что-то забыл, чтобы написать тебе пять слов. Может, лицо матери. Может, твоё имя.

Ярема молчал.

– И ты хочешь, чтобы я его послушала, – сказала Чаруша.

– Хочу.

– Это стоит дорого.

– Сколько?

Она назвала цену. Ярема присвистнул. Это было почти всё, что у него оставалось от купцовых денег.

– Ты бы и правда купила себе дом в слободе, – сказал он.

– Мне не нужен дом в слободе, – сказала Чаруша. – Меня в слободу не пустят. Меня никуда не пустят. Мне нужно уехать из Марок. Далеко. За Свислу, за Порубежье, туда, где не знают, что такое отпевальщица. Для этого нужны деньги.

– Почему тебя выгнали?

– Не твоё дело.

– Ворона сказала – за то, что услышала не того.

Чаруша посмотрела на него своими светлыми, почти белыми глазами.

– Я послушала одну мёртвую девку для её отца, – сказала она наконец. – Отец хотел знать, где она спрятала приданое. А девка сказала мне, кто её утопил. Я сказала отцу. Отец пошёл к воеводе. А тот, кто утопил, оказался воеводин сотник. – Она дёрнула плечом. – Отца повесили за клевету. Меня хотели повесить за колдовство. Видишь? – Она коснулась шеи. – Верёвка порвалась. Гнилая была. Народ на площади закричал: знамение. Воеводе пришлось меня отпустить. Но в городе мне жить запретили.

– А сотник?

– Сотник жив. Ходит по площади. Здоровается со мной, если видит. – Чаруша улыбнулась своей злой улыбкой. – Иногда говорит: «Скучает по тебе Любава». Это та девка.

Ярема помолчал. Потом развязал кошель и высыпал на стол всё, что там было. Серебро и медь. Купцовы деньги, плату за девятнадцать дней пути, за Лисий лог, за двоих, которых он там положил.

– Хватит?

Чаруша посмотрела на монеты. Потом на него.

– Ты дурак, – сказала она. – Ты мог поторговаться.

– Мог.

– Почему не стал?

– Потому что мне надоело торговаться, – сказал Ярема. – Я торговался десять лет. Слушай брата.

Чаруша долго смотрела на него. Потом слезла с лежанки, подошла к столу и смахнула монеты в глиняный горшок. Горшок поставила под лежанку. Потом стала перебирать свечи, одну за другой, что-то бормоча себе под нос. Наконец выбрала одну – серую, толстую, неровную, будто её лепили руками, а не отливали в форме.

– Это с прахом, – сказала она. – С погоста. Я её три года держу. На такую зовут тех, кто далеко.

Она поставила свечу на середину стола, на глиняное блюдце. Потом взяла с полки нож и, не моргнув, полоснула себя по ладони. Кровь закапала на блюдце, вокруг свечи.

– А ты, – сказала она Яреме. – Дай руку.

– Зачем?

– Затем, что он твой брат, а не мой. Мне нужна его кровь. В тебе она тоже есть. Дай руку.

Ярема протянул правую руку. Чаруша покачала головой.

– Левую. Ту, что покалечена. На ней больше памяти.

Он протянул левую. Она взяла его за запястье, твёрдо, как берут лекари, и провела ножом по ладони, поперёк, неглубоко. Было почти не больно. Кровь Яремы смешалась с её кровью на блюдце.

– Теперь молчи, – сказала Чаруша. – Что бы ни было. Молчи и не задувай свечу. И мальчишку держи, чтобы не задул. Если задует – мы оба тут останемся. С тем, кто придёт.

Митко отступил к стене и прижался к ней спиной. Ярема кивнул.

Чаруша взяла с полки уголёк, подула на него – он вспыхнул красным, хотя огня в лачуге не было, – и поднесла к фитилю.

Свеча загорелась синим.

Пламя было маленькое, ровное, неподвижное, как нарисованное. От него не шло тепла. Наоборот – в лачуге стало холодно, сразу, будто кто-то распахнул дверь в зимнюю ночь. Изо рта у Яремы пошёл пар. На краю блюдца, там, где кровь подсыхала, проступил иней – белый, игольчатый, как на окне в крещенский мороз.

Чаруша сидела над свечой, закрыв глаза. Губы у неё шевелились беззвучно. Пальцы с порезанной ладони лежали на краю стола, и с них медленно стекала кровь, капля за каплей, и каждая капля, падая на доски, застывала красной бусиной.

Митко у стены перестал дышать. Ярема слышал, как стучит его собственное сердце – громко, гулко, как шаги мытаря на погосте.

Потом пламя дрогнуло. Не от ветра – ветра не было. Оно наклонилось, вытянулось в сторону Яремы, будто кто-то с той стороны пытался разглядеть его поближе. И Чаруша, не открывая глаз, сказала чужим голосом, низким, мужским, с той самой насмешливой растяжкой, которую Ярема не слышал десять лет:

– Ну здравствуй, младший.

Глава 5. Свеча и пепел

Ярема не ответил. Он помнил, что ему велели молчать, но дело было не в этом. Он просто не мог. Голос брата вошёл в него, как нож входит в масло, и всё, что он собирался сказать за эти два дня, – все вопросы, вся злость, все слова, которые он десять лет не говорил над могилой, – всё растаяло, и осталась одна пустота.

Чаруша сидела над свечой с закрытыми глазами. Лицо её было её лицом: острые скулы, тёмные неровные волосы, след верёвки на шее. Но выражение на нём было чужое. Брови чуть приподняты, уголок рта опущен, голова склонена набок. Так Данко смотрел на младшего брата, когда тот в очередной раз делал что-то глупое. Ярема не видел этого выражения десять лет, а узнал мгновенно.

– Можешь говорить, – сказал Данко губами отпевальщицы. – Она велела тебе молчать, чтобы ты не задул свечу от неожиданности. Но ты же не задуешь. Ты никогда ничего не делал от неожиданности. Ты сначала считаешь до десяти.

– До пяти, – хрипло сказал Ярема.

Чужое лицо усмехнулось.

– До пяти. Ладно. Я забыл. Я теперь много забываю. – Пауза. – Ты получил письмо.

– Получил.

– Долго шло. Вороны медленные.

– Мальчишка принёс. Митко. Он слышит ворон.

– Знаю. Я выбирал, кому отдать. Мне показали троих вестников в Марках. Один в Боровичах, старик, слепой. Одна в Заколодье, девка, но она бы продала Скраге. А этот – этот бы донёс. Он упрямый. Как ты.

Митко у стены тихо всхлипнул. Ярема не обернулся.

– Данко, – сказал он. – Что ты от меня хочешь?

– Я написал. Ты мне должен.

– Что я тебе должен?

Пламя свечи дрогнуло. Чаруша чуть качнулась на месте, как от удара.

– Этого я сказать не могу, – произнёс голос брата. Он стал тише. – На Торге закон: должник сам должен вспомнить свой долг. Или увидеть его записанным. Если я скажу тебе – это будет мой счёт, не твой. Понимаешь? Если я скажу, долг не будет принят.

– Тогда как я узнаю?

– Придёшь – узнаешь. Колодень. Мёрзлая ночь. Под крепостью, в выработках, там, где ты лежал. Там тонко. Там пройдёшь.

– Куда пройду?

– Ко мне. – Голос стал совсем тихий, почти шёпот. – Ярема. У меня мало времени. Свеча горит на её крови и на твоей, и это дорого стоит, и мне за каждое слово тоже платить. Так что слушай и не перебивай.

Ярема сжал кулаки. Порез на ладони открылся, и кровь закапала на пол.

– Слушаю.

– Скрага знает про тебя. Он держит мою запись. Не знаю как, но держит. Его ловчий нюхает мёртвых, он найдёт твой след. Не попадайся. Ему ты нужен живой, но это хуже, чем мёртвый. Понял?

– Понял.

– Возьми её с собой. Отпевальщицу. Одному тебе вниз не пройти, ты глухой. Ты всегда был глухой. – Короткий смешок, совсем как раньше. – Мальчишку тоже возьми. Вороны доведут до порога.

– Он ребёнок.

– Он вестник. Ему уже не стать ребёнком. Возьми.

– Данко...

– Не перебивай. Мёрзлая ночь – это когда Колодь встанет. В этом году рано. Через двадцать дней, может, через двадцать пять. Если опоздаешь...

Голос оборвался. Пламя свечи метнулось, сжалось до крошечной синей точки и снова распрямилось. Чаруша открыла рот и захрипела, будто её душили. Руки её вцепились в край стола.

– Данко! – крикнул Ярема.

– Если опоздаешь, – выдавил голос, хриплый, ломкий, – меня не будет. Совсем. Не мёртвого – никакого. И твой долг перейдёт на тебя. Целиком. С процентами.

– Что значит «никакого»?

– Безымянным. – Голос брата стал вдруг совсем другим, детским, испуганным. – Ярема, я не хочу безымянным. Ты не видел их. Ты не знаешь. Приходи. Пожалуйста. Ты же всегда за мной шёл. Иди и теперь.

Свеча вспыхнула высоко, на целую ладонь, ярко-синим, как молния. Митко вскрикнул. А потом пламя стало красным.

Обычным красным, жёлтым по краям, тёплым. И в лачуге потеплело, иней на блюдце потёк. Но Чаруша не открыла глаз. Она сидела так же, сжимая край стола, только голова её теперь была запрокинута, и лицо изменилось. Брови сошлись к переносице, губы растянулись. Это было уже не лицо Данко.

– Отпевальщица, – сказал из её рта другой голос. Девичий, высокий, сладкий, как патока. – Отпевальщица, а ты меня не позвала. Я ждала, ждала. А ты зовёшь чужих.

Ярема замер. Митко у стены прошептал:

– Это не он. Это другая.

– Любава, – сказала Чаруша своим голосом, сквозь стиснутые зубы. – Уходи. Я тебя не звала.

– А я пришла. Свеча горит, дверь открыта. – Сладкий голос засмеялся. – Ты мне должна, Чаруша. Ты сказала отцу. Ты сказала, и отца повесили. Если бы ты промолчала, отец бы жил. Ты мне отца должна.

– Я сказала правду.

– Правда дорого стоит. Плати.

Чаруша застонала. Её пальцы, вцепившиеся в стол, побелели. На шее, на старом шраме от верёвки, проступили красные пятна, будто верёвку снова затягивали. Ярема видел, как ей не хватает воздуха.

Он поднялся с чурбака. Свечу задувать нельзя – так сказано. Но что можно? Он не знал. Он не знал ничего об отпевальщицах, о свечах, о мёртвых девках, которые требуют долг. Он знал только, как держать меч и как считать монеты.

Он вспомнил, как Митко сыпал соль на мытаря.

– Митко, – сказал он. – Соль.

Мальчишка уже рылся в мешочке на поясе. Он вытащил щепоть серой дедовой соли и протянул Яреме. Ярема взял её, подошёл к столу и высыпал на блюдце, вокруг свечи, в лужу их общей крови.

Соль зашипела. Пламя дёрнулось. Сладкий голос взвизгнул.

– Ты не смеешь! Ты чужой! Ты не отпевальщик!

– Нет, – сказал Ярема. – Я наёмник. Я дорого стою. И мне эта девка нужна живой.

Он достал из-за пазухи бересту, письмо брата, и положил её на стол рядом со свечой. Он сам не знал, зачем. Просто почувствовал, что так надо, как чувствуют в бою, куда сейчас ударит противник.

Пламя свечи наклонилось к бересте. Кончик бересты почернел, потом вспыхнул. И в лачуге, на мгновение, все трое услышали другой голос – низкий, насмешливый, усталый:

– Пошла вон, девочка. Тут занято.

Сладкий голос оборвался, будто его перерезали. Чаруша обмякла и упала грудью на стол. Свеча погасла сама – не от ветра, не от дыхания, просто кончилась. Огарок был почти до самого блюдца.

В лачуге стало темно и тихо. Пахло палёной берестой и горелым воском. Ярема стоял над столом и слушал, как дышит Чаруша. Дышала она тяжело, со свистом, но дышала.

– Митко, – сказал он. – Огонь.

Мальчишка нашарил на полке огниво, высек искру, зажёг лучину. В свете лучины Ярема увидел, что на столе, рядом с погасшей свечой, лежит кусок бересты. Обгоревший с одного конца. Половина письма сгорела. Слова «Ты мне должен» остались. Знак крючков – тоже. А «Приходи к Колодню до Мёрзлой ночи» превратилось в пепел.

– Он сжёг, – сказал Митко. – Чтобы прогнать ту.

– Вижу.

– Но ты ведь помнишь? Куда идти?

– Помню.

Чаруша застонала и подняла голову. Лицо у неё было серое, глаза запали. На шее алел свежий рубец поверх старого. Она посмотрела на Ярему мутным взглядом.

– Ты высыпал соль, – сказала она.

– Высыпал.

– В кровь. На живую свечу. – Она закашлялась. – Тебе кто разрешил?

– Никто.

– Дурак. – Она вытерла рот рукавом. – Ты мог нас всех убить. Соль закрывает дверь. Наглухо. Если бы твой брат не вышел снова, она бы осталась тут. С нами. В закрытой комнате.

– Он вышел.

– Вышел, – согласилась Чаруша. Она помолчала, глядя на обгоревшую бересту. – Сильный он у тебя. Я такого не слышала давно. Он пробил ко мне через Любаву, а это тяжело. Это как идти против течения в половодье. Он себе много стоил, твой брат.

– Что значит «много стоил»?

– Значит, что на Торге за всё платят. За каждое слово, которое он тебе сказал. За каждый раз, когда толкнул пламя. – Она подняла на него свои светлые глаза. – Он что-то отдал, чтобы прогнать её. Не знаю что. Может, кусок памяти. Может, день своего срока.

Ярема сел на чурбак. Ноги снова были как чужие. Порез на левой ладони саднил.

– Он сказал «безымянным», – проговорил он. – Что это?

Чаруша не сразу ответила. Она взяла с полки глиняную кружку, плеснула в неё воды из бадейки, выпила в три глотка. Руки у неё тряслись так, что вода текла по подбородку.

– Мне бабка рассказывала, – сказала она наконец. – Она была отпевальщица, и её мать, и мать её матери. Мы из одного рода, нас в Вежине так и звали – Свечницы. Бабка говорила: когда человек умирает, он идёт к Меже. Это как река, только не с водой. Кто никому не должен и кому никто не должен, тот переходит сразу. Таких мало. Почти нет. У каждого хоть что-то остаётся.

– И куда они?

– Вниз. На Торг. Ждать, пока долг закроется. Обычно это быстро: живые сами платят, сами того не зная. Свечку поставят, помянут, вдове помогут, обиду простят – и долг закрыт. Мёртвый уходит за Межу. Но бывает, что долг большой. Такой, что сам не закроется. Тогда мёртвый служит. Год, пять, десять. Работает на Торге, пока не отработает. – Она поставила кружку. – А если срок вышел, а долг не принят... Тогда у мёртвого забирают имя.

– Как забирают?

– Не знаю как. Бабка не видела. Она видела только тех, кто остался без имени. Они иногда приходят на свечу, если зовут не того. Они не говорят. Они не помнят, кто они. Они не помнят даже, что были людьми. Бабка говорила, это как тень без человека. Ходит, ищет, к кому прицепиться. Не находит. И так всегда. – Чаруша помолчала. – За Межу им уже не перейти. Межа пускает только тех, у кого есть имя.

Ярема смотрел в пол. На досках у его сапог застыли красные бусины – кровь Чаруши, замёрзшая на лету.

– Он сказал, Скрага держит его запись.

– Слышала.

– Что это может значить?

– Что воевода знает про Торг больше, чем положено живому. – Чаруша посмотрела на него. – Слухи давно ходят. Что Скрага в смуту поднялся слишком быстро. Был мелкий воеводишка с тремя деревнями, а за пять лет взял Вежин, Заколодье и половину Мокши. Ни одной битвы не проиграл. Ни одного покушения на него не удалось, а их было много. Говорят, ему везёт так, как живым не везёт.

– Говорят, – повторил Ярема. – А ты что думаешь?

– Я думаю, что везение тоже покупают, – сказала Чаруша. – Как всё остальное. И что твой брат, может быть, часть цены.

Ярема поднял голову. Он вспомнил вдову Кулиху у калитки и её слова: «А на что воеводе свои же долги скупать?» И ту мысль, что ускользнула от него в слободе, как рыба. Теперь она вернулась, но он опять не мог её ухватить. Только край: если долг – это запись, то тот, кто держит все записи, держит и всех, кто в них.

– Бусел, – сказала Чаруша. – Не думай сейчас. Голова лопнет. Потом подумаешь.

– Когда потом?

– Когда выберемся. – Она откинулась к стене и закрыла глаза. – Если выберемся. Я ещё никогда не держала дверь так долго. У меня внутри всё звенит, как пустое ведро.

Митко подошёл к ней и молча положил ей на колени краюху хлеба – остаток того, что дала вдова Кулиха. Чаруша приоткрыла один глаз, посмотрела на хлеб, потом на мальчишку.

– Это мне?

– Тебе. Ты бледная.

– Сам ешь. Ты тощий.

– Я уже ел, – соврал Митко. Он врал про еду, Ярема это уже знал. Чаруша, видно, тоже поняла: отломила половину и вернула ему. Они жевали молча, и Ярема смотрел на них и думал, что ещё три дня назад у него не было никого, а теперь их трое.

– Он сказал, двадцать дней, – произнёс он. – Или двадцать пять. До Мёрзлой ночи. До Колодня отсюда – неделя пешком, если по прямой. Но по прямой – через Скрагины земли.

– Через Мокшу, – сказала Чаруша.

– Что?

– Через Мокшу. Болота. Там, где перевоз. Скрагины туда не суются: топко, конным не пройти. – Она снова закашлялась и сплюнула на пол красное. – Это дольше. Дней двенадцать. Но живыми дойдём.

Ярема посмотрел на неё.

– Дойдём?

Чаруша ничего не ответила. Она встала из-за стола, пошатнулась, схватилась за стену. Митко подскочил и подставил плечо. Она хотела оттолкнуть его, но передумала, оперлась.

– Ты слышал, что он сказал, – произнесла она, не глядя на Ярему. – Тебе вниз одному не пройти. Ты глухой. Тебе нужна отпевальщица.

– Слышал. Но ты не обязана.

– Не обязана, – согласилась Чаруша. – Ты мне заплатил за то, чтобы послушать. Я послушала. Мы в расчёте.

– Тогда почему?

Она долго молчала. Митко держал её под руку и смотрел снизу вверх.

– У меня там тоже дело, – сказала она наконец.

– На Торге?

– На Торге.

– Какое?

– Не твоё, – отрезала Чаруша. Но голос у неё дрогнул, и Ярема это заметил. – Ты мне не друг, Бусел. Ты наёмник. Я отпевальщица. Мы с тобой идём в одну сторону. Этого хватит.

– Хватит, – сказал Ярема. – Только условие.

– Какое ещё условие?

– Ты мне не врёшь. Ни про Торг, ни про свечи, ни про мёртвых. Чего не хочешь говорить – не говори. Но не ври.

Чаруша посмотрела на него с удивлением.

– А ты мне?

– И я тебе.

– Наёмники всегда врут.

– Я не всегда, – сказал Ярема. – Я дорого стою. Враньё снижает цену.

Митко хихикнул. Чаруша покосилась на мальчишку, потом снова на Ярему. И вдруг усмехнулась – не злой своей усмешкой, а как-то иначе, по-человечески, устало.

– Ладно, Бусел. Не вру. – Она протянула ему руку. Порезанную, перевязанную грязной тряпицей. – По рукам.

Ярема пожал её руку своей, тоже порезанной. Кровь их снова смешалась, и он почувствовал, как по ладони пробежал холодок – слабый, мимолётный, как память об инее на блюдце.

– Ещё одно, – сказала Чаруша, прежде чем он успел заговорить. – Ты должен знать, с кем идёшь. Отпевальщица на Торге – не гостья. Там нас знают. Не любят и не ненавидят. Мы для них как лодочники для рыбы: возим туда-сюда слова. Но если отпевальщица спускается сама, живая, – это значит, что она пришла за своим. И за ней будут смотреть.

– Кто?

– Все. Мытари. Взымщица. Те, кому она когда-то не так передала слово. – Она криво усмехнулась. – У каждой отпевальщицы там есть недовольные. Как у тебя – у тех, кому ты не дал дойти до дома с топором.

– Я никого не убивал, кто не шёл на меня первым.

– Это ты так считаешь. – Чаруша пожала плечами. – Там считают по-другому. Там считают всё. Даже то, о чём ты сам забыл.

Ярема подумал о двоих в Лисьем логу. О рябом в корчме, которого ударил об угол стола. О тысяче тех, кого не помнил по лицам. Он никогда не считал их. Он считал только монеты.

– И что, – спросил он, – мне за них тоже платить?

– Не знаю, – сказала Чаруша. – Это не мне решать. Я только знаю, что там всё записано. А что из записанного спросят – это как повезёт.

– Когда выходим? – спросил он.

– Сейчас, – сказала Чаруша. – Если твой брат так сильно толкнул, то это слышали не только мы.

– Кто ещё?

– Те, кто нюхает мёртвых. – Она кивнула на дверь. – Ловчий Скраги держит собак, у которых нет теней. Они чуют, когда открывается дверь. Я сегодня открыла её так широко, что они, наверное, уже воют.

И будто в ответ на её слова, где-то за живодёрней, со стороны города, протяжно и тоскливо завыла собака.

Потом вторая.

Потом третья.

Митко побелел.

– Они, – прошептал он. – Вороны кричат. Они идут сюда.

Чаруша выругалась так, что Ярема даже в роте не слышал. Она бросилась к лежанке, выдернула из-под неё глиняный горшок с монетами и сунула его в холщовую суму. Потом стала сгребать со стола свечи – не все, только серые, неровные, лепленные руками. Потом сорвала со стены несколько пучков травы.

– Бусел, – сказала она, не оборачиваясь. – Ты бегать умеешь?

– Умею.

– А плавать?

– Умею.

– Хорошо. – Она закинула суму на плечо. Лицо у неё было белое, как полотно, и Ярема понял, что вопрос про плавание она задала не ради него. – А то я не умею.

Вой приближался. Он шёл с трёх сторон: от города, от слободы и с реки. Ярема вынул меч, откинул занавеску и выглянул наружу.

Над живодёрней стоял туман. Не такой, как на Кривом Яру – не белый, а желтоватый, мутный, будто из выгребной ямы. И в этом тумане, у загона, Ярема увидел силуэт всадника на высоком коне. Всадник был в длинном плаще. Цвет плаща в тумане было не разобрать, но Ярема и так знал, какой он.

Рыжий.

Как ржавчина.

Глава 6. Ловчий

Собаки вышли из тумана первыми.

Их было шесть. Ярема видел много собак в своей жизни: волкодавов на хуторах, гончих у панов, бродячих псов, жрущих мертвечину на полях после боя. Эти были другие. Высокие, поджарые, с длинными узкими мордами и острыми ушами, серые, как пепел. Шерсть на них лежала гладко, будто облитая водой. Они шли не бегом и не шагом, а какой-то плавной рысью, бесшумно, не касаясь земли брюхом. Глаза у них светились жёлтым.

И у них не было теней.

Ярема заметил это не сразу. Солнце стояло низко, за рекой, и всё во дворе живодёрни отбрасывало длинные тени: загон, куча костей, шест с лошадиным черепом, сам он. А собаки шли по двору – и под ними ничего не было. Будто их нарисовали на воздухе.

– Не смотри им в глаза, – сказала Чаруша за его спиной. – Они берут через взгляд.

– Что берут?

– Тень. Твою. – Она дёрнула его за рукав. – Сзади окно. Через камыши к реке. Быстро.

Ярема отступил внутрь лачуги и задёрнул занавеску. Это было глупо – занавеска из мешковины не остановила бы и курицу, – но так он хотя бы не видел собак. Митко уже был у задней стены и разгребал руками глиняную обмазку у самого пола. Там действительно было окно, вернее, дыра, заткнутая пуком соломы.

– Я её сама прорезала, – бросила Чаруша. – На случай, если опять придут вешать.

Митко выдернул солому и нырнул в дыру первым. Чаруша – за ним, протиснувшись боком, с сумой на плече. Ярема полез последним. Дыра была узкой для его плеч, и он застрял. Глина посыпалась за ворот. Снаружи, со стороны двора, послышался голос – ровный, спокойный, почти ласковый.

– Бусел. Не лезь в дыры, ты не мышь. Выходи. Поговорим.

Ярема рванулся. Глина треснула, кусок стены отвалился, и он вывалился наружу, в мокрые камыши. Чаруша схватила его за ворот и потянула вперёд.

– Не слушай его. Он говорит, а собаки обходят.

Они побежали через камыши. Земля под ногами была топкая, сапоги проваливались по щиколотку, вода холодила ноги. Митко бежал впереди, лёгкий, как кулик, и указывал путь: туда, где под водой был твёрдый грунт. Справа шумела река. Слева, за стеной камыша, мелькали серые спины.

Собаки не лаяли. Это было страшнее всего. Обычная собака, когда гонит, лает и рычит, и по этому звуку знаешь, где она. Эти шли молча. Только камыш шелестел, и иногда Ярема видел жёлтые глаза в просветах между стеблями.

– Куда? – выдохнул он.

– К плотине, – сказала Чаруша. – Мельничная, вверх по реке. Там перейдём на ту сторону.

– Через реку?

– По плотине. По верху. – Голос у неё дрогнул. – Там узко, но я ходила. Один раз.

Камыши кончились. Они выскочили на сухой берег, на тропу, вытоптанную скотом. Впереди, в полуверсте, виднелась мельница – большая, двухъярусная, с огромным колесом, – и плотина, перегораживающая реку. Плотина была старая, из брёвен и камня, а поверху шла узкая дорожка для мельника, без перил.

Ярема оглянулся. Из камышей одна за другой выходили собаки. Они не торопились. Они выстраивались полукругом, отрезая путь назад к слободе и к городу. А позади них, на тропе, шагом ехал всадник в рыжем плаще.

Теперь Ярема видел его хорошо. Высокий, худой, длинноногий, в седле сидел прямо, как кол проглотил. Лицо узкое, с запавшими щеками, бритое, бледное, как у покойника. Глаза

светлые, почти бесцветные. Волосы седые, хотя на вид ему было не больше сорока. Плащ длинный, до стремян, цвета ржавого железа. На поясе – ни меча, ни сабли. Только кнут, свёрнутый кольцом, и длинный нож в узких ножнах.

– Бусел, – сказал всадник. Он не кричал, но голос его был слышен отчётливо, будто он стоял рядом. – Я Кирей Ржа. Ловчий воеводы Лютобора Скраги. Ты, наверное, слышал обо мне.

– Слышал, – сказал Ярема. Он держал меч опущенным, но крепко.

– Тогда ты знаешь, что я не промахиваюсь. – Ржа остановил коня в двадцати шагах. Собаки сели вокруг, как по команде. – Не бегай. Тебе не нужно бегать. Я пришёл не убивать.

– Знаю. Двадцать серебром за живого.

– Двадцать – это для дураков на воротах. – Ржа чуть улыбнулся. Улыбка была тонкая и ничего не значила. – Воевода готов заплатить тебе двести. Двести серебром, Бусел. Дом в Вежине. Сотня под твою руку. Ты ведь был десятником, а мог бы быть сотником. Все это знали.

– За что?

– За то, что ты пойдёшь со мной. Добровольно. И скажешь воеводе одно слово.

– Какое?

– «Принимаю». – Ржа наклонил голову. – Только одно слово. Ничего больше.

– Что принимаю?

– Расчёт. – Ловчий пожал плечами. – Воевода тебе всё объяснит. Он хороший рассказчик. Тебе понравится.

Ярема молчал. Он думал. Он считал до пяти, как всегда, а потом ещё до пяти. Двести серебром. Он никогда не видел таких денег сразу. С ними можно было уехать на юг навсегда. Купить двор, землю, жить спокойно.

И он знал: тот, кто предлагает двести серебром за одно слово, знает, что слово стоит дороже.

– Мне брат велел не попадаться, – сказал он.

Ржа перестал улыбаться.

– Твой брат мёртв, Бусел. Десять лет. Ты сам его хоронил.

– Хоронил. А он вылез.

– Мёртвые много чего делают. – Ловчий тронул коня, и тот сделал шаг вперёд. Собаки поднялись. – Они врут, например. Ты думаешь, он тебя зовёт, чтобы обнять? Ему нужна твоя жизнь, Бусел. Он хочет её забрать. Мёртвые всегда хотят одного – снова жить. А воевода может тебя защитить.

– От брата?

– От долга, – сказал Ржа. – Брат – это только запись.

Ярема посмотрел на Чарушу. Она стояла бледная, вцепившись в лямку сумы, и смотрела на собак – нет, не на собак, а под них, туда, где не было теней.

– Он врёт? – спросил Ярема тихо.

– Не знаю, – так же тихо ответила она. – Может, нет. Мёртвые и правда хотят жить. Но воевода не защищает. Воевода покупает.

– Решай, Бусел, – сказал Ржа. – Я терпеливый, но собаки нет.

Ярема поднял меч.

– Я решил.

Ловчий вздохнул. Почти сочувственно.

– Жаль. Взять.

Собаки сорвались с места все разом.

Ярема не стал ждать. Он схватил Митко за шиворот, толкнул вперёд, к плотине, и сам побежал следом. Чаруша рванула рядом. До плотины было шагов триста. Ярема знал, что

собаки быстрее. Он знал это так же точно, как знал, сколько монет у него в кошеле. Но других дорог не было.

Первая собака догнала его у самой мельницы. Он почувствовал её – не услышал, а почувствовал: холод ударил в спину, такой же, как от прикосновения мытаря, только острее, как укол. Ярема развернулся на бегу и рубанул наотмашь, не глядя.

Меч вошёл во что-то твёрдое. Собака взвизгнула – первый звук, который он от них услышал, – и отлетела в сторону. Ярема увидел, что клинок рассёк ей морду от уха до носа. Крови не было. Из раны шёл серый дым, как от тлеющего торфа.

– Не смотри! – крикнула Чаруша.

Поздно. Ярема посмотрел собаке в глаза. Жёлтые, круглые, как плошки с маслом. И почувствовал, как под ногами у него что-то дёрнулось. Он опустил взгляд. Его тень – длинная, вечерняя, тянувшаяся от сапог к реке – дрожала, будто кто-то тянул её за край, как тянут скатерть со стола.

Собака с рассечённой мордой поднялась. Рана на ней затягивалась. Она открыла пасть, и Ярема увидел, что зубов у неё нет – только чёрная пустота, и в эту пустоту, медленно, как вода в воронку, утекал край его тени.

Он ударил снова. Не мечом – ногой, сапогом в эту пустую пасть. Собака отлетела. Тень под ним дёрнулась обратно и легла на место. Ярема почувствовал слабость, будто только что отдал кровь.

– Бусел! – крикнула Чаруша уже с плотины.

Он побежал. Остальные собаки были уже рядом, серые, бесшумные. Митко стоял на плотине, на узкой дорожке, раскинув руки для равновесия. Чаруша была за ним, в трёх шагах, и не двигалась.

Ярема вбежал на плотину и понял почему.

Дорожка была шириной в две ладони. Брёвна мокрые, скользкие, обросшие зелёной тиной. Справа – тихая, тёмная вода мельничного пруда, глубокая, неподвижная. Слева – обрыв, сажени три, и внизу, в пене, река, ревущая у колеса. Брызги летели вверх, оседали на брёвнах, на лицах.

Чаруша стояла на этой дорожке, вцепившись руками в воздух, и смотрела вниз, на пену. Губы у неё были синие.

– Иди, – сказал Ярема.

– Не могу.

– Иди. Собаки.

– Не могу! – Она не кричала, она шептала, и от этого было хуже. – Я тону. Каждую ночь тону. Во сне. С тех пор, как меня вешали. Если упаду – всё.

Ярема оглянулся. Собаки остановились у начала плотины. Они не шли дальше. Сидели в ряд, шесть серых силуэтов, и смотрели. Вода, понял Ярема. Они не любят текучую воду. Может, не могут её перейти. Но долго они ждать не будут: за ними, на тропе, Ржа слезал с коня, разматывая кнут.

– Чаруша. Смотри на меня.

Она не смотрела.

– Смотри на меня, отпевальщица. Не вниз. На меня.

Она медленно повернула голову. Глаза у неё были огромные, светлые, полные ужаса.

– Ты сказала – по рукам. Не врать. Так я не вру: я тебя не уроню. – Ярема шагнул к ней по скользким брёвнам, протянул левую руку, трёхпалую, порезанную. – Держись. Не за воздух. За меня.

Она смотрела на его руку.

– Ты сказала, на ней больше памяти, – сказал Ярема. – Вот и держись за память.

Чаруша вцепилась в его руку. Пальцы у неё были ледяные и сжимали так, что порез на его ладони снова открылся. Он не обратил внимания.

– Шаг, – сказал он.

Она шагнула.

– Ещё.

Ещё шаг. Митко впереди уже дошёл до середины плотины, до того места, где над водосбросом стоял деревянный ворот затвора, и обернулся.

– Ярема! Он идёт!

Ярема не оглянулся. Он слышал. Шаги на брёвнах – лёгкие, уверенные. Ловчий не боялся воды. Ловчий шёл по плотине, как по мостовой.

– Шаг, – сказал Ярема. – Ещё. Не смотри вниз. Ещё.

Они дошли до ворота. Чаруша обхватила столб обеими руками и прижалась к нему. Её трясло.

Ярема наконец обернулся.

Кирей Ржа стоял на плотине шагах в пятнадцати. Кнут свисал у него из руки, длинный, тонкий, с чем-то блестящим на конце – не узел, а крючок, железный, зазубренный.

– Красиво, – сказал ловчий. – Я почти растрогался. Но ты зря, Бусел. Тебе некуда. На той стороне мои люди, у брода. Я их ещё утром поставил.

– Врёшь.

– Может, и вру. – Ржа шевельнул кистью, и кнут развернулся по брёвнам, как змея. – Проверишь?

Ярема посмотрел на ворот затвора. Тяжёлое дубовое колесо с рукоятями, на оси – цепь, уходящая вниз, к щиту водосброса. Мельник поднимал этот щит весной, в половодье, чтобы спустить лишнюю воду из пруда. Сейчас щит был опущен. Пруд за плотиной стоял полный, тёмный, неподвижный.

Он вспомнил – откуда-то из самой глубины памяти, из детства, – как они с Данко однажды подняли щит на мельнице в Кленовце. Просто так, из озорства. Вода хлынула, смыла мостки, утопила мельниковых гусей, и отец порол их обоих неделю. Данко тогда сказал: «Зато красиво было». Ярема тогда сказал: «Ты мне должен за порку. Это ты придумал».

– Митко, – сказал он, не сводя глаз с ловчего. – Беги на тот берег. Сейчас. Не оглядывайся.

– А ты?

– Беги.

Мальчишка побежал. Ржа даже не посмотрел ему вслед.

– Отпевальщица, – сказал Ярема. – Держись за столб. Крепко. Обеими руками. Что бы ни было – держись.

– Что ты задумал? – прошептала Чаруша.

Ярема не ответил. Он вложил меч в ножны, взялся обеими руками за рукоять ворота и рванул.

Ворот не поддался. Ржавая ось заскрипела, но не сдвинулась. Ярема упёрся ногами в брёвна, напряг спину. Кнут свистнул в воздухе. Ярема почувствовал удар в плечо – железный крючок впился в безрукавку, пробил стёганку и рванул кожу. Боль была острая, яркая. Он не отпустил ворот.

– Брось, Бусел, – сказал Ржа. – Глупо.

Ворот провернулся на четверть. Цепь лязгнула. Где-то внизу, под плотиной, что-то хрустнуло.

Ржа понял. Он перестал улыбаться и бросился вперёд.

Ярема рванул ещё раз. Ворот провернулся до конца. Цепь пошла вверх, сматываясь на ось, и щит водосброса, тяжёлый, дубовый, обросший тиной, поднялся из воды.

Пруд рухнул.

Это было как удар грома. Вся масса тёмной неподвижной воды, накопленная за осень, разом нашла выход и ринулась в проём под плотиной. Плотина вздрогнула. Брёвна заходили ходуном. Над водосбросом встала стена брызг, белая, ревущая, выше человеческого роста.

Кирей Ржа был в пяти шагах. Ярема увидел его лицо – впервые живое, искажённое злостью. А потом дорожка под ловчим просела. Бревно, на котором он стоял, сдвинулось, крякнуло и ушло вниз, в ревущую пену.

Ржа не упал. Он успел хлестнуть кнутом, и крючок зацепился за соседнее бревно. Он повис над пеной, держась за рукоять, и вода била в него, рвала плащ.

Ярема не стал ждать. Он схватил Чарушу за пояс, оторвал от столба – она закричала, – закинул на плечо, как мешок, и побежал по трясущимся брёвнам на другую сторону. Плотина ходила под ногами. Одно бревно ушло у него из-под сапога, и он чуть не упал, но удержался. Брызги заливали глаза. Чаруша на его плече не кричала больше – она молчала, сжавшись в комок, вцепившись в его рубаху.

Он добежал. Земля под ногами была твёрдой. Он скинул Чарушу на траву и сам упал рядом.

Митко подбежал к ним. Лицо у него было мокрое – от брызг или от слёз, не разобрать.

– Живые?

– Живые, – прохрипел Ярема.

Он обернулся. Плотина держалась, но в середине её зиял пролом, и через него хлестала вода. На том берегу собаки бегали вдоль кромки, беззвучно, и не решались подойти. Ловчего не было видно.

– Утонул? – спросил Митко.

– Такие не тонут, – сказала Чаруша. Она сидела на траве, обхватив колени, и её колотило так, что стучали зубы. – Такие выплывают. Всегда.

И точно: ниже по течению, у камышей, из пены показалась голова. Ржа выбрался на свой берег, медленно, тяжело. Плащ его, мокрый, тёмный, висел, как шкура утопленника. Он встал во весь рост и посмотрел через реку – прямо на Ярему. Расстояние было большое, лица не разобрать. Но Ярема почувствовал его взгляд, как чувствовал холод от собак.

Ловчий поднял руку и что-то сказал. Ярема не слышал слов. Но Митко вдруг вздрогнул.

– Вороны передают, – прошептал мальчишка. – Он сказал: «Твой брат был моей добычей десять лет. Ты будешь моей до Мёрзлой ночи».

Ярема поднялся. Плечо горело. Он нащупал рану – глубокая, рваная, крючок вырвал кусок мяса вместе со стёганкой. Кровь текла по спине.

– Где его люди у брода? – спросил он. – Он сказал, на этом берегу.

Митко прислушался.

– Вороны говорят, нет никого. Он соврал.

– Хорошо. – Ярема поднял с травы Чарушу. Она не сопротивлялась. – Идти можешь?

– Могу, – сказала она. Голос её был тихий, сиплый. – Бусел.

– Что?

– Ты меня нёс. Как мешок.

– Нёс.

– Через воду.

– Через воду.

Чаруша посмотрела на него. Потом отвернулась и пошла вперёд, к лесу, не оглядываясь, спотыкаясь на кочках.

– Спасибо не скажу, – бросила она через плечо. – Не жди.

– Не жду, – сказал Ярема.

Ярема смотрел ей вслед. Она шла, обхватив себя руками, мокрая, маленькая, и спина у неё была прямая, как жердь. Он подумал, что за всю жизнь не видел, чтобы человек так боялся

– и всё равно шёл. В роте трусов не держали, но и таких не было. В роте боялись смерти, ран, голода. А она боялась воды так, как боятся только того, что уже однажды убило. И всё-таки прошла по плотине. Держась за его трёхпалую руку.

Он подумал ещё, что ни разу в жизни никого так не нёс. Брат носил его – и в детстве, с разбитой коленкой, и под Колоднем. А он никого. Он всегда был тем, кого несут, или тем, кто идёт один. Плечо от этой мысли заболело сильнее.

Митко шёл рядом с ним и косился на рану на плече.

– Тебе зашить надо.

– Зашьём. Вечером.

– А она умеет? Отпевальщица?

– Спроси её.

Митко побежал вперёд, догонять Чарушу. Ярема шёл позади и думал. Он думал о двухстах серебром, от которых отказался не моргнув. О слове «принимаю». О том, что сказал Ржа: «Мёртвые всегда хотят одного – снова жить».

И о том, что ловчий, возможно, не соврал.

Позади, над рекой, над разбитой плотиной, поднимался туман – жёлтый, мутный. Собаки выли в нём. Не все шесть – пять. Одна, та, которой Ярема рассёк морду, молчала.

Он остановился на опушке и оглянулся. И увидел то, от чего у него похолодело внутри сильнее, чем от взгляда собак.

Его собственная тень, длинная, вечерняя, лежавшая на траве перед ним, была короче, чем должна быть. Совсем немного. На ладонь. Как будто кто-то откусил от неё край.

Глава 7. Корчма на перекрёстке

Корчма «Три вербы» стояла там, где старая Вежинская дорога пересекалась с просёлком на Мокшу. Вербы и правда были – три, огромные, дуплистые, с обрубленными ветками, похожие на старух, воздевших руки к небу. Под ними – длинный бревенчатый дом с низкой крышей, конюшня, колодец с журавлём. Дым из трубы шёл густой, сытый. На дворе стояли две телеги с бочками и коновязь, у которой дремала пегая кобыла.

Ярема дошёл до неё в темноте, когда плечо уже не болело, а горело ровным, тупым жаром. Рубаха прилипла к спине. Чаруша шла молча весь путь, только раз остановилась, когда они переходили ручей, и стояла перед ним, пока Митко не взял её за руку и не повёл по камням, как маленькую.

– Сюда можно? – спросил Митко у ворот. – Тут скрагиных нет?

– Скрагины везде есть, – сказал Ярема. – Но тут их меньше. Это уже не его земля. Это Мокшанская волость, ничейная. Тут каждый сам за себя.

– А тебя тут знают?

– Знают. Это и хорошо, и плохо.

Он толкнул дверь. Внутри было жарко, людно и шумно. За длинным столом сидели возчики с тех двух телег – шестеро здоровых мужиков в армяках, – ели щи из общего котла и спорили о цене на соль. У печи грелся старик-странник с посохом. В углу, отдельно, сидели двое в добротных кафтанах, похожие на купеческих приказчиков, и пили мёд. Все обернулись на дверь.

Хозяин стоял за стойкой. Ярема помнил его: Савва Полторак, одноглазый, бывший пушкарь, ушедший из войска после того, как у него на глазах разорвало пищаль. Пустую глазницу он закрывал кожаной нашлёпкой. Савва посмотрел на Ярему своим единственным глазом, на кровь на плече, на Чарушу, на Митко в волочащемся до пят плаще, и сказал:

– Бусел. Опять с дырой.

– Опять.

– В прошлый раз была в боку. Теперь в плече. Тебе бы заплатки ставить, а не зашивать. – Савва вытер руки. – Комната есть одна, на чердаке. Горячей воды дам. Иглу дам. Нитки свои.

– Нитки есть, – сказала Чаруша. Это были её первые слова за три часа.

Савва посмотрел на неё внимательнее. Глаз его задержался на её шее, на двойном шраме.

– Отпевальщица, – сказал он. Не спросил.

Возчики за столом притихли. Приказчики в углу переглянулись. Старик у печи перекрестился.

– Отпевальщица, – сказала Чаруша. Подбородок её поднялся. – Выгонишь?

Савва помолчал.

– У меня в корчме, – сказал он громко, так, чтобы слышали все, – один закон. Кто платит, тот гость. Кто буянит, тот за порог. А кто кого слышит, живых или мёртвых, – мне дела нет. Моя бабка тоже слышала. Говорила, дед её из-под земли ругает, что она пиво разбавляет. – Он повернулся к Яреме. – Плати.

Ярема полез в кошель и вспомнил, что кошель пустой. Все деньги лежали в глиняном горшке у Чаруши в суме. Он посмотрел на неё. Чаруша, не говоря ни слова, вынула горшок, отсчитала несколько монет и положила на стойку.

– Это за комнату, за воду и за ужин на троих, – сказала она. – И за то, чтобы ты завтра забыл, что нас видел.

– Забыть дороже, – сказал Савва.

Чаруша положила ещё одну монету.

– Уже забыл, – сказал хозяин и сгрёб деньги.

На чердаке было тесно, пахло сеном и мышами. Под скатом крыши стояла широкая лавка, накрытая рогожей, сундук, на сундуке – плошка с жиром и фитилём. Савва принёс ведро горячей воды, чистую тряпку и кружку крепкой хлебной водки. Водку поставил перед Яремой, посмотрел на него своим глазом и ушёл.

Чаруша зажгла плошку. Потом открыла суму, порылась в ней и вынула кожаный свёрток. В свёртке были иглы – длинные, кривые, разные, – и моток толстой вощёной нити.

– Снимай рубаху, – сказала она.

Ярема снял. Это было непросто: рубаха присохла к ране, и пришлось отмачивать её водой. Митко сидел на сундуке и смотрел, раскрыв рот. Когда рубаху наконец отлепили, мальчишка присвистнул.

– Ого. Как будто волк кусал.

– Крючок, – сказала Чаруша. Она промыла рану тряпкой, смоченной в водке. Ярема стиснул зубы. – Зазубренный. Чтобы рвал, а не резал. Ловчие такими кнутами подсекают беглых. Чтобы потом не убежали – рука не поднимется.

– У меня поднимется.

– Посмотрим. – Она вдела нить в иглу. – Не дёргайся.

Шила она быстро, ловко, стежок к стежку, будто штопала мешок. Ярема смотрел в стену и считал стежки. На одиннадцатом не выдержал:

– Где научилась?

– Саваны шила. – Чаруша не подняла головы. – Отпевальщица не только слушает. Она и обмывает, и одевает, и шьёт. Бабка меня с семи лет сажала. Сначала на тряпках училась, потом на покойниках. Покойники не дёргаются. Не то что ты.

– Я не дёргаюсь.

– Дёргаешься. Плечом. Каждый раз, когда игла входит.

Ярема перестал дёргаться. Двенадцатый стежок. Тринадцатый.

– Отпевальщица, – сказал он. – Там, на плотине. Ты сказала, что тонешь каждую ночь. С тех пор, как вешали.

Игла замерла на мгновение. Потом пошла дальше.

– Сказала.

– Почему тонешь, если вешали?

Чаруша долго молчала. Четырнадцатый стежок. Пятнадцатый.

– Потому что, когда я висела, я видела Любаву, – сказала она наконец. – Ту девку, которую утопили. Верёвка ещё не порвалась, я задыхалась, и я видела реку. Под водой. Её глазами. Как она шла на дно. Как вода заливала рот. Я была в ней. – Игла вошла в кожу резко, Ярема поморщился. – А потом верёвка лопнула, и я упала на помост. Но с тех пор, как засну, – я снова там. В воде. С ней.

– Это она тебя держит?

– Может быть. Может, я сама себя держу. – Чаруша затянула узел и откусила нитку. – Готово. Двадцать два стежка. Не мочи три дня. Не поднимай тяжёлое.

– Тебя, например.

Она подняла на него глаза – и Ярема увидел, что она почти улыбается.

– Меня в первую очередь, – сказала Чаруша. – Я тяжёлая. У меня кости из свинца.

Митко засмеялся. Ярема тоже усмехнулся – впервые за много дней.

Она сложила иглы обратно в кожаный свёрток. Руки у неё больше не дрожали – только когда она коснулась нитки, Ярема заметил, что пальцы её всё ещё в засохшей крови, его и её.

– Ты бы тоже руку перевязала, – сказал он.

– Перевяжу.

– Сейчас. Я видел, как ты её на столе держала. Кровь шла.

Чаруша посмотрела на свою ладонь, будто увидела её впервые. Потом молча оторвала полосу от чистой тряпки, которую принёс Савва, и замотала порез. Ярема смотрел, как она затягивает узел зубами.

– Бабка твоя тоже так делала? – спросил он. – Резала руку на каждую свечу?

– Каждый раз. – Чаруша показала ему ладонь, и под свежей повязкой он увидел десятки старых белых шрамов, крест-накрест, как штриховка на карте. – Свеча ест кровь. Без крови мёртвые не слышат. Им нужно что-то тёплое, чтобы найти дорогу.

Внизу, в корчме, загремели миски, запахло щами. Савва крикнул снизу, что ужин готов. Они спустились. Возчики уже ушли спать в конюшню, к своим бочкам, старик-странник дремал у печи, сидя, опершись на посох. Только приказчики в углу всё сидели над своим мёдом. Ярема сел так, чтобы видеть их, спиной к стене.

Щи были горячие, жирные, с капустой и салом. Митко ел, обжигаясь, не поднимая головы. Чаруша ела медленно, как будто через силу. Ярема съел свою миску в несколько минут, потом попросил хлеба и съел ещё.

– Бусел, – сказала Чаруша, когда Митко ушёл к печи греться и задремал там рядом со стариком. – Ты обещал не врать.

– Обещал.

– Тогда расскажи мне про Колодень. Всё, что помнишь. По порядку.

– Зачем?

– Затем, что твой брат сказал: в выработках, там, где ты лежал. А ловчий сказал: мёртвые врут. Я хочу понять, кто врёт. Мне нужно знать, что было.

Ярема долго смотрел в пустую миску.

– Нас наняли весной, – начал он. – Серую роту. Сто двадцать человек, капитан Будимир Кос. Скрага тогда ещё не был хозяином Вежина. У него было Заколодье и крепость Колодень на реке. Он воевал с Брячиславом, с соседом. Брячислав шёл на Колодень с тысячей. У Скраги своих людей было сотни три, и все в поле. Он попросил роту подержать крепость, пока не придёт с подмогой. Сказал – месяц. Обещал двойное жалованье.

– Пришёл?

– Нет. – Ярема покрутил миску. – Мы держали сорок три дня. Брячислав взял крепость в кольцо. Пушек у него не было, только тараны и лестницы. Мы отбили шесть приступов. На тридцатый день кончилась еда. Ели коней, потом собак, потом ремни. Капитан посылал гонцов к Скраге через реку. Ни один не вернулся.

– Дальше.

– На сорок третий день ворота открыли изнутри. Ночью. – Ярема сжал пальцы. – Кто открыл, я не знаю. Гнат говорил потом – кто-то из наших, кого купили. Брячислав вошёл во двор. Резня была. Капитан собрал тех, кто остался, человек тридцать, и мы ушли в выработки. Под крепостью есть старые соляные копи, ещё дедовские. Там лабиринт. Капитан знал, что есть лаз на реку, ниже по течению. Мы шли туда.

– Ты был ранен.

– Во дворе. Копьём под рёбра. Вот тут. – Он показал на левый бок, где под рубахой был старый шрам, широкий, звездой. – Данко меня тащил. Сначала я шёл сам, потом не мог. Он нёс.

– Дальше.

– Дальше... – Ярема замолчал.

Чаруша ждала.

– Дальше темнота, – сказал он. – Соль. Факел. Холодно. Брат говорит что-то. А потом – телега Гната. Через неделю.

– Неделю?

– Гнат так говорил. Я был в лихорадке. Он меня подобрал на берегу Колоди, у лаза. Одного. Данко рядом не было.

Чаруша помолчала. Потом взяла его левую руку – трёхпалую, с порезом – и положила на стол ладонью вверх. Провела пальцем по линиям.

– Странно, – сказала она.

– Что?

– Ты всё помнишь подробно. Сорок три дня – помнишь. Шесть приступов – помнишь. Что ели – помнишь. Даже как звали гонцов, наверное, помнишь.

– Помню. Ванька Гусь и Семён Плетень.

– Вот. – Она постучала пальцем по его ладони. – А потом – дыра. Не туман, не обрывки, как бывает в лихорадке. Чистая дыра. Будто вырезали ножом. Так не забывают от болезни, Бусел. Так забывают, когда память отдали.

– Кому?

– Тому, кому твой брат что-то обещал. – Чаруша отпустила его руку. – Ты помнишь его голос, «я договорюсь». Это край дыры. Как обрывок нитки, где отрезали. Если потянуть за него, может, вытянется ещё.

– Как потянуть?

– Не знаю. Может, когда придём туда, на место. Место держит память лучше, чем голова.

У печи вдруг вскрикнул Митко. Ярема вскочил, опрокинув лавку. Приказчики в углу вздрогнули. Старик-странник открыл глаза.

Митко сидел на полу у печи и тёр лицо обеими руками. Он не проснулся до конца – глаза его были открыты, но смотрели куда-то мимо, в огонь.

– Он тут был, – сказал мальчишка. – Он тут сидел.

– Кто? – Ярема присел рядом, взял его за плечи.

– Брат твой. Во сне. Он сидел на лавке рядом и грел руки у печки. Только руки у него не грелись. Он сказал – холодно мне, малой, десять лет холодно.

Чаруша подошла и села на корточки с другой стороны. Она взяла Митко за подбородок, как тогда, в лачуге, и повернула его лицо к свету. Белое пятнышко на виске стало ярче, почти светилось.

– Что он ещё сказал? – спросила она тихо.

– Сказал... – Митко моргнул, и взгляд его стал осмысленнее. – Сказал: передай брату, пусть не продаёт тень. Ни за какие деньги. Сказал: тень – это то, чем платят за дорогу назад. Без тени не вернёшься. – Мальчишка поёжился. – А ещё он сказал, что ему стыдно.

– За что? – спросил Ярема.

– Не сказал. Сказал только: стыдно мне, малой. Перед ним стыдно. А потом встал и ушёл в печку. Прямо в огонь. И я проснулся.

Ярема медленно отпустил его плечи. Он посмотрел вниз, на пол, на свою тень, которую отбрасывал огонь из печи. Тень лежала на досках, большая, чёрная, сутулая. И с одного края, со стороны левой руки, не хватало чего-то. Будто там, где должны были быть тени двух пальцев, которых у него и так не было, не хватало ещё и куска ладони.

Чаруша тоже это увидела. Она ничего не сказала, только сжала губы.

– Тень, – сказал Ярема. – Собака откусила. На плотине.

– Я видела, – сказала Чаруша. – Немного. На краю. Это заживает, если не трогать. Если они больше не укусят.

– А если укусят?

– Тогда не заживёт. – Она встала и отряхнула колени. – Бусел, иди спать. Ты две ночи не спал. Я посижу.

– Ты тоже не спала.

– Я привыкла. Я с мёртвыми сижу ночами с детства. – Она кивнула на лестницу на чердак. – Иди. И мальчишку забери. Ему у печки сны дурные.

Ярема поднял Митко – тот был лёгкий, как охапка хвороста, – и понёс наверх. На лестнице оглянулся. Чаруша села за стол, спиной к стене, там, где сидел он, и положила перед собой нож. Приказчики в углу поднялись, бросили на стол монеты и ушли, не глядя на неё. Старик-странник снова закрыл глаза.

На чердаке Ярема уложил Митко на лавку, укрыл плащом. Сам лёг на полу, на рогоже. Плечо ныло. Сон не шёл.

«Стыдно мне перед ним».

Что могло быть стыдно Данко? Данко, который никогда ничего не стыдился. Который занимал у капитана и не отдавал. Который в шестнадцать лет увёл у мельника из Кленовца дочь на сеновал, а на следующий день как ни в чём не бывало пришёл к нему же молоть зерно. Который смеялся над всем – над смертью, над голодом, над Скрагой, над младшим братом.

«Ему нужна твоя жизнь, Бусел. Мёртвые всегда хотят одного – снова жить».

Ярема лежал и смотрел в темноту под крышей. Внизу тихо потрескивала печь. Где-то на дворе всхрапнула пегая кобыла. А потом, совсем близко, за стеной, на ветке одной из трёх верб, хрипло, один раз, каркнула ворона.

Митко на лавке пробормотал во сне:

– Она говорит, внизу люди. Двое. Приказчики. Они не спать ушли. Они ушли на Вежинскую дорогу. Пешком. Быстро.

Ярема сел.

– Куда?

– Вороны говорят, – Митко зевнул, не открывая глаз, – к ловчему. Сказать, где ты.

Ярема поднялся, нашарил в темноте меч. Потом остановился. До Вежина пешком – полдня. Ловчий будет здесь к полудню, не раньше. Даже если с собаками.

Он лёг обратно.

– Пусть идут, – сказал он в темноту. – Мы уйдём на рассвете. В Мокшу.

– Угу, – сказал Митко сквозь сон.

Ярема закрыл глаза. Он думал, что не заснёт, но заснул сразу, как упал в колодец. И ему ничего не снилось. Совсем ничего. Только темнота, и в темноте – холодно.

Разбудил его Савва. Было ещё темно, только в слуховом окне серело. Хозяин стоял на лестнице с плошкой в руке и смотрел на Ярему своим единственным глазом.

– Вставай, Бусел. Отпевальщица твоя сказала, вы до света уходите. Я вам в дорогу собрал.

Внизу на столе лежал узел: хлеб, кусок варёной солонины, луковицы, мешочек пшена, фляга с водкой. Рядом стояли старые сапоги, детские, но крепкие, с подбитыми каблуками. Митко увидел их и замер.

– Это сына моего, – сказал Савва, не глядя на мальчишку. – Вырос он. В Боровичах теперь, при солеварне. Ему не надо.

– Сколько? – спросила Чаруша, потянувшись к суме.

– Нисколько, – сказал Савва. – Я Буселам должен. Старшему. Он меня под Ольшанами из-под разорванной пищали вытащил, когда я там без глаза лежал. На себе нёс полверсты. Я ему так и не отдал. Не успел. – Хозяин помолчал. – Значит, младшему отдам. Так по-людски.

Ярема посмотрел на него. Он не знал этой истории. Данко никогда не рассказывал.

– Он тебе ничего не говорил? – спросил Савва. – Брат твой?

– Нет.

– Ну, на него похоже. Он про своё хорошее никогда не говорил. Только про плохое, и то со смехом. – Савва поставил плошку на стол. – Куда идёте, не спрашиваю. Но если в Мокшу, то на Чёрной протоке перевоз держит Гнат Стрижак. Ваш, ротный. Обозный. Он там пятый год. Скажи, что от меня, – может, не прогонит.

Ярема долго молчал. Гнат. Человек, который вёз его на телеге неделю. Человек, который сказал ему, что тело брата нашли у входа в выработки. Он не видел Гната девять лет.

– Спасибо, Савва.

– Не за что. – Хозяин отвернулся к печи. – Идите. Приказчики те, что ночью ушли, – не мои. Я их не знаю. Если кто спросит, я вас не видел. Отпевальщица заплатила.

Они вышли во двор. Небо на востоке наливалось бледной зеленью. Митко шёл в новых сапогах, высоко поднимая ноги, как журавль, и всё время смотрел вниз, на свои ноги. Чаруша шла рядом с Яремой и молчала. У ворот она остановилась и посмотрела на три вербы.

– Он и тут успел, – сказала она.

– Кто?

– Твой брат. Должник у него в каждой корчме. – Она покачала головой. – Только должники все – ему. А не он.

Ярема ничего не ответил. На верхушке средней вербы сидела ворона с белым пером в крыле. Когда они вышли на просёлок, она снялась и полетела на северо-восток, к болотам.

Глава 8. Долговая яма

Сычи стояли на краю болот, на последнем сухом пригорке перед Мокшей. Двадцать дворов, обнесённых общим тыном, церквушка без колокола, кладбище за огородами. Дальше начинались топи: кочки, ржавая вода, чахлые берёзки, туман над окнами трясины. Дорога в Сычах кончалась. Дальше, на Чёрную протоку, к перевозу, шла только гать, и по гати надо было идти полдня.

Они пришли в Сычи под вечер второго дня после «Трёх верб». Ярема рассчитывал переночевать, купить еды и выйти на гать утром. Но уже у ворот понял, что ночевать здесь будет непросто.

Ворота были закрыты, хотя солнце ещё не село. На тыну, над воротами, висели пучки чертополоха и связки луковой шелухи. Под каждым пучком был вбит железный гвоздь. У ворот, снаружи, стоял мужик с вилами, а за тыном, во дворе ближней избы, слышался бабий плач.

– Чего надо? – крикнул мужик с вилами. Голос у него был испуганный.

– Ночлег, – сказал Ярема. – Заплатим.

– Нету ночлега. Уходите.

– Темнеет. Куда нам идти? На гать в темноте?

– Хоть к лешему. – Мужик перехватил вилы поудобнее. – Нынче нельзя. Нынче его ночь.

– Чья?

Мужик не ответил. Он смотрел мимо Яремы, на Чарушу, и лицо у него менялось. Сначала было испуганное. Потом – недоверчивое. Потом – отчаянное.

– Ты, – сказал он Чаруше. – Ты отпевальщица? Шея у тебя... Мне кум рассказывал, в Вежине отпевальщицу вешали, а верёвка порвалась.

Чаруша молчала.

– Отпевальщица, – сказал Ярема. – А что?

Мужик опустил вилы. Потом повернулся и закричал через тын:

– Кузьма! Кузьма, отпирай! Отпевальщица пришла!

Их впустили. Через несколько минут вокруг них стояла вся деревня – мужики, бабы, дети, старики, человек шестьдесят. Все смотрели на Чарушу. Ярема видел в их глазах страх, отвращение и надежду, перемешанные так, что не разберёшь, чего больше. Так смотрят на лекаря, который пришёл резать ногу.

Староста, Кузьма Лобода, был невысокий, крепкий, лысый мужик лет пятидесяти, с бородой лопатой. Он вышел вперёд, сдёрнул шапку и поклонился Чаруше в пояс. Ярема даже удивился. Отпевальщицам не кланялись.

– Добрая женщина, – сказал староста. – Помоги. Заплатим, что скажешь. Всем миром соберём.

– Что у вас? – спросила Чаруша. Голос у неё был ровный, холодный.

Староста замялся. Оглянулся на мужиков. Мужики опустили глаза.

– Мертвец у нас, – сказал наконец Кузьма. – Ходит.

– Кто?

– Мельник наш. Онисим Гречко. Третий год как помер. А ходит с первой зимы. Как начнутся морозы – так и ходит. Каждую седьмую ночь. Нынче седьмая.

– Что делает?

– Стучит. – Староста сглотнул. – Ходит от избы к избе и стучит в окна. В каждое. И спрашивает: «Где моё?» А кому постучит три раза, у того в доме кто-нибудь заболевает. Прошлой зимой у Фёдоровых ребёнок помер. У Карповых – корова. У Марфы Сухой муж ослеп.

– Чего он хочет?

– Того... – Кузьма снова оглянулся. – Того мы не знаем.

Чаруша посмотрела на него долгим взглядом. Потом обвела глазами толпу. Ярема видел, как люди под этим взглядом опускали головы, отворачивались, переминались.

– Знаете, – сказала она. – Все знаете. Иначе бы не держали яму.

– Какую яму? – спросил Ярема.

Никто не ответил. Чаруша повернулась к нему.

– У них яма на кладбище, – сказала она. – Долговая. Я по запаху слышу. Так делают в глухих местах, когда мертвец ходит за долгом. Роют яму у его могилы, кладут туда хлеб, соль, вещи – чтобы откупиться. Чтобы брал из ямы, а не из дома. Только это не помогает. Мёртвым не нужен хлеб. – Она снова посмотрела на старосту. – Покажи.

Ярема отвёл её в сторону, к колодцу, пока мужики спорили, кому идти первым.

– Ты ведь можешь отказаться, – сказал он тихо. – Тебе за это не заплатят столько, сколько ты стоишь. И тебя тут не любят. Посмотри на них.

Чаруша посмотрела. Бабы у плетня жались друг к другу, крестились и шептались, не сводя с неё глаз.

– Не любят, – согласилась она. – Нигде не любят. Это ничего. Мертвецу всё равно, любят меня или нет. Он ходит, потому что ему холодно. Мне его жалко.

– Мертвеца?

– Мертвеца, – сказала Чаруша. – Живые сами себе помогут. А мёртвым никто, кроме нас.

Она вернулась к старосте. Ярема постоял у колодца ещё немного, глядя в чёрную воду на дне сруба. Он думал, что в Марках каждый второй за пять лет смуты остался кому-то должен, и каждый второй – кому-то не отдал. Если все они ходят, то по ночам в деревнях должно быть тесно от мёртвых.

А может, так оно и было. Просто живые научились не слышать стук в окно.

Кладбище было за огородами, на пригорке, у самого края топи. Яма оказалась у крайней могилы, под старой ольхой. Неглубокая, в рост человека, обложенная по краям дёрном. На дне лежали караваи – свежие, вчерашние и совсем старые, заплесневелые, превратившиеся в зелёную кашу. Мешочки с солью. Полотенца. Чей-то нательный крест. Детские бусы. Монеты.

– Всё не берёт, – сказал староста шёпотом. – Как лежало, так и лежит.

– Конечно, не берёт, – сказала Чаруша. – Это не его.

Она подошла к могиле. Крест на ней был дубовый, добротный, с резной крышей. На кресте вырезано: «Онисим Гречко, мельник. Кормил». Ярема удивился последнему слову. Обычно на крестах писали «упокой» или «помилуй».

– Кто резал? – спросила Чаруша.

– Дочка его, – сказал староста. – Ганна. Она в избе у мельницы живёт, одна. Мы ей помогаем.

– Помогаете, – повторила Чаруша. И Ярема услышал в её голосе то же, что в голосе мытаря на погосте, когда тот смеялся: скрип льда под ногой.

Она достала из сумы свечу. Не серую, с прахом, а обычную, жёлтую, восковую. Поставила её на крест, на перекладину, и зажгла от огнива. Пламя загорелось ровно, обычным жёлтым светом. Чаруша закрыла глаза и долго стояла молча.

Солнце село. Над болотом поднимался туман. Мужики и бабы, пришедшие следом, стояли у кладбищенской ограды и не подходили ближе. Митко стоял рядом с Яремой и держал его за пояс.

– Вороны молчат, – прошептал мальчишка. – Совсем. Все улетели.

– Почему?

– Не знаю. Они улетают, когда кто-то сейчас придёт. Кто не ихний.

Чаруша открыла глаза.

– Он скоро будет, – сказала она. – Я его слышу. Он злой. Но не на вас. Он злой на себя. – Она повернулась к старосте. – Расскажи мне про мор. Про голодный год.

Кузьма побелел.

– Откуда ты...

– Расскажи. Или я расскажу сама. Тогда уж не обессудь.

Староста долго молчал. Мужики у ограды переглядывались. Наконец вперёд вышла старуха – маленькая, сгорбленная, в чёрном платке, – и сказала скрипучим голосом:

– Расскажу я. Мне уже не стыдно, я помирать скоро.

Её звали бабка Фотинья. Она говорила медленно, с остановками, и все слушали молча.

Четыре года назад, сказала она, в Сычах был голод. Летом прошёл Скрагин отряд, забрал всё зерно в казну – недоимку за прошлые годы. А осенью град побил то, что осталось. К зиме в деревне ели кору. Дети пухли. Старики умирали.

У мельника Онисима было зерно. Немного – он был не богатый, мельница маленькая. Но он прятал своё, засыпал в бочки и закопал под полом, пока Скрагины ходили. И зимой, когда дети стали пухнуть, Онисим открыл свои бочки. Он раздал зерно – всё, до последнего зёрнышка, – на двадцать дворов. Каждому по мере. Он сказал: отдадите, когда сможете. С урожая. Без лихвы.

Деревня пережила зиму. Ни один ребёнок больше не помер.

А весной Онисим простудился, когда чинил колесо в ледяной воде, и умер за три дня. Осталась дочь, Ганна, ей было шестнадцать.

– А долг? – спросил Ярема, хотя уже знал ответ.

Бабка Фотинья посмотрела на него выцветшими глазами.

– А долг никто не отдал, – сказала она. – Онисим помер, расписок не было, он на слово давал. Ганна девка тихая, не просила. А мы... – Старуха замолчала, потом махнула рукой. – Мы решили – ну, помер же. Кому отдавать? Девке? Девка одна, ей много не надо. Поможем, если что. Дров подкинем. Хлебушка.

– Помогаете, – снова сказала Чаруша.

– Помогаем, – кивнула бабка. – Как подачку. А долг-то не отдали. Ни один двор. Двадцать мер зерна, Онисимова мера, своей рукой насыпанная. Ни один.

У ограды кто-то из баб заплакал. Мужики стояли, опустив головы.

– Так ведь не было зерна, – сказал кто-то из толпы, молодой, злой голос. – Скрагины опять прошли! Каждый год проходят! Откуда нам двадцать мер?

– Не в зерне дело, – сказала Чаруша.

– А в чём?

Чаруша не успела ответить.

Туман над болотом вдруг двинулся. Не так, как движется туман под ветром, – а разом, весь, будто его толкнули. Он пополз к кладбищу, перевалил через ограду, мимо людей, которые отшатнулись и закрестились. Он подполз к могиле мельника и встал над ней. И из тумана вышел человек.

Он был совсем не страшный. Это первое, что поразило Ярему. Невысокий, плотный, в мучной рубахе до колен, подпоясанной верёвкой. Лицо круглое, бородатое, с добрыми морщинками у глаз. Только кожа серая, как пепел, и с бороды капала вода. И глаза – глаза были пустые, как два колодца.

Мельник Онисим посмотрел на яму. На хлеб, на соль, на монеты, на детские бусы. И покачал головой.

– Не моё, – сказал он. Голос был хриплый, сырой, будто говорил человек, наглотавшийся воды. – Где моё?

Толпа у ограды отхлынула назад. Кто-то побежал. Староста Кузьма стоял, вцепившись в шапку, и не мог пошевелиться.

Чаруша шагнула вперёд.

– Онисим Гречко, – сказала она. – Я отпевальщица. Я тебя слышу.

Мертвец медленно повернул к ней голову.

– Слышишь, – повторил он. – Давно меня никто не слышал. Они не слышат. Я стучу, стучу. Они кладут хлеб в яму. Зачем мне хлеб? Я хлеб раздал.

– Знаю. Чего ты хочешь?

Мертвец долго молчал. Вода капала с бороды на мучную рубаху и не оставляла пятен.

– Хочу, чтоб сказали, – произнёс он наконец. – Хоть раз. Хоть один из них. Что взяли. Что должны. Не отдали – ладно. Не могли – ладно. Скрагины каждый год ходят, я знаю. Но хоть бы сказали. А то – будто не было. Будто я им ничего не давал. Будто я сам помер, а зерно само выросло у них в сусеках. – Голос его стал громче. – Ганна моя у них – как приблудная. Подачки носят. Дрова кидают через забор. А в глаза не глядят. Будто она им чужая. А она моя. И зерно было моё.

Ярема слушал и чувствовал, как у него внутри что-то сжимается. Он сам не знал почему.

– Если они скажут, – спросила Чаруша, – ты уйдёшь?

– Уйду, – сказал мельник. – Мне тут холодно. Мне уйти надо. Меня за Межой жена ждёт. Я ей обещал, что приду. А не пускают. Говорят: тебе должны. Пока не примут долг – держим. – Он поднял пустые глаза на толпу. – Пусть примут. Пусть скажут. Мне больше ничего не надо.

Чаруша повернулась к деревне.

– Слышали?

Толпа молчала. Ярема видел их лица в сумерках, серые, растерянные. Видел, как мужики переглядываются. И понимал – с отвращением понимал, потому что знал это по себе, – что они боятся не мертвеца. Они боятся сказать.

Потому что если скажешь «должен» – значит, должен. Значит, придётся отдавать. Двадцать мер. Онисимовой мерой. Дочке, которая живёт одна у мельницы. А зерна нет. И не будет. Скрагины опять придут.

– Он не просит отдать, – сказал Ярема громко. Все обернулись к нему. – Слышите? Он не просит отдать. Он просит сказать.

– А если скажем, а потом отдать не сможем? – крикнул тот же злой молодой голос. – Он опять придёт! Ещё хуже!

– Не придёт, – сказала Чаруша. – Долг принятый и долг отданный – разные вещи. Принятый долг отпускает мёртвого. Отданный – отпускает живого. Ему нужно только первое. Второе – ваше дело. Вашей совести.

Толпа зашумела. Ярема стоял и смотрел, как они спорят. Бабы плакали. Мужики ругались вполголоса. Староста Кузьма стоял, белый, и мял шапку. Мельник у могилы ждал, неподвижный, и вода капала с его бороды.

И тогда из толпы вышла бабка Фотинья.

Она прошла, ковыляя, между крестами, подошла к мертвецу совсем близко – ближе, чем подходила Чаруша, – и остановилась перед ним. Маленькая, сгорбленная, в чёрном платке. Посмотрела снизу вверх в его пустые глаза.

– Онисим, – сказала она. – Я Фотинья Карпова. Ты мне в Сретенье насыпал меру ржи. Своей рукой. Я этой рожью внука выкормила, Тишку. Он теперь вон стоит, у ограды, здоровый лоб. Я тебе должна. Меру ржи и Тишкину жизнь. Признаю.

Мертвец смотрел на неё. И Ярема увидел, как в пустых колодцах его глаз что-то блеснуло. Как вода на дне, когда в колодец заглядывает солнце.

– Признаёшь, – повторил мельник.

– Признаю. Отдать не смогу, у меня нету. Но Ганне твоей завтра сама отнесу полмеры. Последнее. И скажу ей в глаза: это в отцов долг.

Мельник долго молчал. Потом кивнул.

Из толпы вышел староста Кузьма. Он шёл тяжело, будто к ногам были привязаны камни. Встал рядом с бабкой. Не поднимая глаз, проговорил:

– Кузьма Лобода. Мера ячменя. Признаю.

Потом – ещё один. Мужик с вилами, тот, что стоял у ворот. «Пётр Фёдоров. Мера ржи. Признаю». Потом – баба с ребёнком на руках. «Марфа Сухая. Две меры. Признаю». Потом ещё. И ещё.

Они выходили по одному, и каждый говорил своё имя, свою меру и одно слово: «Признаю». Некоторые плакали. Некоторые говорили сквозь зубы. Тот, с злым молодым голосом, вышел последним – высокий парень, лет двадцати, с мрачным лицом. Он долго стоял молча, потом сказал:

– Тихон Карпов. Это меня бабка твоей рожью кормила. Признаю. И отдам. Сам отдам, с весны. На мельнице отработаю.

Мельник Онисим посмотрел на него. Потом на всех. На двадцать человек, стоящих перед ним среди крестов, в тумане.

– Двадцать, – сказал он. – Все двадцать дворов.

– Все, – сказала Чаруша.

– Тогда ладно, – сказал мельник. И улыбнулся. Улыбка была совсем живая, добрая, с морщинками у глаз. – Тогда я пойду. Ганне скажите... – Он замолчал. – А что сказать? Я забыл. Я ведь ей писал. Письмо. Через ворон. Год назад. А она не ответила.

Чаруша вздрогнула.

– Ты писал ей письмо?

– Писал. Пять слов. «Не держи зла, дочка». – Мельник нахмурился, будто вспоминал что-то трудное. – А потом забыл её лицо. Совсем. Помню, что есть дочь. Помню, что Ганна. А лица не помню. Говорят, такая цена. За письмо.

– Она получила? – спросил Ярема.

– Не знаю. Вороны отнесли. А она молчит. – Мертвец посмотрел на него. – Ты передай ей, чужой человек. Скажи, что я её лицо отдал за пять слов. Пусть знает, что не зря.

Туман вокруг мельника стал редеть. Сквозь него проступали звёзды. Фигура мертвеца становилась прозрачнее, как отражение в воде, когда по ней проходит рябь.

– Онисим, – сказала Чаруша. – Иди. Жена ждёт.

– Иду, – сказал мельник. И исчез.

Свеча на кресте догорела и погасла сама.

Долго никто не двигался. Потом бабка Фотинья перекрестилась, села прямо на холодную землю у могилы и заплакала. Тихо, по-старушечьи. Внук Тишка подошёл, поднял её, повёл домой. За ними потянулись остальные.

Ярема стоял у ямы с хлебом и смотрел на крест. «Онисим Гречко, мельник. Кормил».

– Ганна знала, – сказала Чаруша рядом. – Про письмо. Не могла не знать. Вороны всегда приносят.

– Почему не ответила?

– Потому что мёртвым не отвечают письмами. Им отвечают делом. – Отпевальщица посмотрела на него. – Ей нечего было сделать. Деревня молчала, а одна она долг не примет. Чужой долг. Не её.

Ярема молчал. Он думал о бересте за пазухой – о сгоревшей половине и о том, что осталось. «Ты мне должен». Пять слов было у мельника. У Данко – девять. Чем Данко заплатил за девять слов?

– Чаруша, – сказал он. – Брат сказал: должник должен сам вспомнить долг. Или увидеть записанным. Мельник сказал: пусть примут. А что, если долг вспомнить нельзя? Если он отрезан?

Отпевальщица долго смотрела на погасшую свечу.

– Тогда придётся найти, где он записан, – сказала она.

Наутро, перед тем как уйти на гать, Ярема зашёл в избу у мельницы. Ганна Гречко оказалась худенькой бледной девушкой с большими серыми глазами. Он сказал ей то, что велел передать отец. Слово в слово. Она слушала молча, не перебивая. А когда он договорил, она не заплакала. Она подошла к божнице, достала оттуда кусок бересты и протянула ему.

«Не держи зла, дочка».

Почерк был кривой, неумелый, выдавленный костью.

– Я не держала, – сказала Ганна. – Я просто не знала, как ему это сказать.

Ярема вышел от неё и долго стоял у мельничного колеса, глядя, как ленивая болотная вода течёт сквозь лопасти. Митко и Чаруша ждали у гати. Он подумал, что за десять лет ни разу не сказал вслух ни одного слова брату. Ни на могиле, ни во сне, ни пьяный. Он думал, что так легче. Теперь он не был в этом уверен.

Глава 9. Мокша

Гать начиналась сразу за огородами Сычей и уходила в туман, как мост в никуда. Брёвна, уложенные поперёк, связанные лыком, придавленные жердями. Местами они были новые, ещё жёлтые, местами – чёрные, сгнившие, проваленные, и тогда через провал приходилось перебираться по положенной сверху доске. Справа и слева от гати лежала Мокша.

Ярема слышал про Мокшу всю жизнь, но никогда здесь не был. Рота обходила эти болота стороной: здесь не воевали, здесь не было ни городов, ни дорог, ни добычи. Только топь на сорок вёрст во все стороны, от Сычей до самой Колоди, и посреди топи – протоки, острова, старые торфяные карьеры, затопленные леса. Говорили, что в Мокше живут люди, которые никогда не видели воеводы и не платили податей. Говорили, что тут прятались беглые от всех войн, от смуты, от мора. Говорили, что в топях есть деревни, построенные на сваях, и что туда не доходят ни сборщики, ни попы.

Говорили и другое. Что в Мокше по ночам горят огни, и кто пойдёт на них, не вернётся. Что здесь водятся кикиморы и болотники. Что топь сама выбирает, кого пропустить.

Утро было серое, тихое. Туман лежал над водой низко, по пояс, и сквозь него торчали верхушки кочек, обросшие рыжей осокой. Вода между кочками была чёрная, неподвижная, с радужной плёнкой. Пахло тиной, гнилым деревом и ещё чем-то сладковатым, болотным, от чего клонило в сон.

Чаруша шла посередине, между Яремой и Митко. Она не смотрела по сторонам. Она смотрела только себе под ноги, на брёвна, и шла медленно, осторожно, ставя ногу точно в середину каждого бревна. Ярема видел, как напряжена её спина, как сжаты кулаки.

– Не так страшно, – сказал он. – Тут мелко. Вон, видишь, кочки. Если оступишься – по колено, не глубже.

– Не говори мне, где мелко, – сквозь зубы ответила Чаруша. – Любава тоже думала, что мелко. А её на середину вывезли в лодке.

Ярема замолчал.

Митко шёл впереди, лёгкий, ловкий в новых сапогах Саввиного сына. Он то и дело останавливался, прислушивался, вертел головой. Вороны здесь были – Ярема видел, как они перелетают с кочки на кочку, чёрные, мокрые, нахохлившиеся. Ворона с белым пером летела над самой гатью, чуть впереди мальчишки.

– Что они говорят? – спросил Ярема.

– Говорят – идти прямо. Не сворачивать. Там, где гать раздваивается, – налево. Направо – к огням.

– А что там, у огней?

Митко помолчал.

– Не говорят. Говорят: не ходи.

К полудню туман поднялся, и стало видно дальше. Болото лежало вокруг огромное, бескрайнее, рыжее и серое, с редкими островками чахлых берёзок. Над ним кружили чибисы. Где-то далеко кричала выпь – глухо, протяжно, будто дули в пустую бочку. Гать петляла между кочками, иногда уходила под воду – тогда шли по колено в ледяной жиже, нащупывая брёвна ногами. Чаруша в такие минуты не дышала совсем.

На одном из таких мест она поскользнулась.

Это случилось быстро. Бревно под её ногой провернулось, и она упала – не в воду, а на колени, на соседнее бревно, но вода плеснула ей в лицо. Чаруша закричала. Не громко, а коротко, страшно, как кричит заяц, когда его хватает лиса. И замерла, стоя на четвереньках, не двигаясь, с закрытыми глазами.

Ярема подошёл, поднял её за плечи. Она была лёгкая и деревянная, как кукла.

– Всё, – сказал он. – Всё. Ты на гати. Ты не в воде.

– Я в воде, – прошептала она. – Я всегда в воде.

– Нет. Посмотри. Открой глаза.

Она открыла. Посмотрела на него. Потом на воду. Потом снова на него.

– Отпусти, – сказала она. – Я сама.

Он отпустил. Она поднялась, отряхнула колени, мокрые насквозь, и пошла дальше. Но теперь она шла, держась одной рукой за конец его пояса. Ярема ничего не сказал. Митко, обернувшись, тоже ничего не сказал, только посмотрел на них и быстро отвернулся.

Остановились поесть на сухом пятачке, где гать расширялась и кто-то когда-то сложил из камней очаг. Огня разводить не стали – Ярема не хотел, чтобы дым видели издалека. Ели холодную солонину Саввы и хлеб. Чаруша почти не ела. Она сидела, обхватив колени, и смотрела на свои мокрые ноги.

– Отпевальщица, – сказал Ярема. – Почему ты пошла? По-честному. Ты могла остаться в Вежине. С деньгами. Купила бы место на струге до Порубежья.

– Я сказала. У меня дело.

– Ты сказала, что у тебя дело на Торге. Но до Торга идти через воду. Много воды. Ты знала. Ты сама сказала про Мокшу.

Чаруша долго молчала.

– Знала, – сказала она наконец. – Я подумала: если не пойду сейчас, то не пойду никогда. Буду сидеть в лачуге у живодёрни до старости, слушать чужих мёртвых и тонуть каждую ночь. А так – может, утону по-настоящему. Один раз. Это лучше, чем каждую ночь.

Митко, который делал вид, что не слушает, перестал жевать.

– Не утонешь, – сказал он. – Вороны говорят, ты не в воде умрёшь.

Чаруша посмотрела на него.

– А где?

Мальчишка пожал плечами и снова откусил хлеба.

– Не говорят. Говорят только, не в воде. И не скоро.

Развилка показалась после полудня. Гать раздваивалась у сухого бугра, на котором стоял старый идол – резной столб из почерневшего дуба, с вырезанным лицом. Лицо было стёртое временем, почти без черт, только глаза глубокие, как дыры. У подножия идола лежали подношения: черепки, бусины, сгнившие ленты, птичьи перья.

Левая гать уходила к северу, в сторону далёкого леса. Правая – на восток, к широкой полосе тростника, за которой, как сказал Митко, текла какая-то вода.

– Налево, – сказал мальчишка.

– Подожди, – сказала Чаруша. Она смотрела на идола. – Ты слышишь?

Ярема прислушался. Ничего. Только выпь вдалеке и плеск воды.

– Что?

– Не ты. Мальчик.

Митко замер. Повернул голову к правой гати, к тростнику.

– Поёт кто-то, – сказал он тихо. – Там. Баба поёт.

Ярема теперь тоже услышал. Тонко, издалека, на самой грани слуха – голос. Женский, высокий, протяжный. Слов было не разобрать, но мотив был знакомый – колыбельная, какую поют во всех деревнях Марок. «Спи, моё дитятко, спи, не тужи...»

Чаруша побелела.

– Это не баба, – сказала она. – Это то, что на огнях. Оно поёт голосами тех, кого ты помнишь. Мальчик, кого ты слышишь?

Митко не ответил. Он стоял, не двигаясь, повернувшись к тростнику, и лицо у него было такое, какое Ярема ещё не видел. Открытое, детское, беззащитное.

– Мамка, – прошептал он. – Это мамка поёт.

Он сделал шаг на правую гать.

Ярема схватил его за шиворот. Мальчишка рванулся, сильно, неожиданно сильно для такого щуплого тела. Он не кричал – он молча вырывался, царапался, лягался, и всё смотрел туда, на тростник, откуда шла колыбельная.

– Митко! – крикнул Ярема. – Это не она!

– Она! Она! Я знаю, как она поёт! Пусти!

– Твоя мать умерла. Под Пустошкой. Ты сам сказал. Это не она.

– Пусти!

Чаруша шагнула к мальчишке, схватила его обеими руками за лицо и повернула к себе.

– Митко. Посмотри на меня. Что тебе вороны говорят?

Мальчишка дёрнулся, но не вырвался.

– Слушай ворон. Не её. Ворон. Что они говорят?

Митко замер. Глаза у него были мутные, затуманенные. Но постепенно взгляд его прояснялся. Ворона с белым пером слетела с идола и села ему на плечо – Ярема никогда не видел, чтобы она садилась на человека, – и громко, хрипло каркнула прямо в ухо.

Митко вздрогнул всем телом. И заплакал.

– Говорят – не мамка, – выдавил он сквозь слёзы. – Говорят – это огонь поёт. Он берёт голоса. Мамка за Межой. Она давно ушла. Она меня не держит.

– Не держит, – повторила Чаруша. – Слышишь? Не держит. Она ушла. Ей там хорошо.

– Тогда почему она мне снится?

Чаруша не ответила. Она обняла его – неловко, одной рукой, как обнимают люди, которые давно никого не обнимали, – и прижала к себе. Митко ткнулся ей в плечо и плакал. Ворона сидела на его плече и молчала.

Колыбельная в тростнике оборвалась. Ярема видел, как там, над тростником, на мгновение вспыхнул огонёк – маленький, синеватый, похожий на пламя свечи, – и погас.

Они пошли налево. Митко шёл, держась за руку Чаруши. Ярема шёл позади и думал о том, что Данко сказал про мальчишку: «Ему уже не стать ребёнком». Брат ошибался. Мальчишка был ребёнком. Просто он был ребёнком, которому некуда было прятаться.

Через версту Митко сам отпустил руку Чаруши, вытер лицо рукавом и пошёл впереди, как раньше. Только теперь он то и дело оглядывался, будто проверял, идут ли они следом. Ярема каждый раз кивал ему. Он помнил, как сам оглядывался на Данко, когда шёл первым по тонкому весеннему льду на Свисле, и как брат кивал ему с берега: иди, младший, иди, я смотрю. Он тогда провалился на середине, и Данко вытащил его за ворот. Это был седьмой раз. Или восьмой. Они так и не договорились, как считать.

Чёрная протока показалась к вечеру. Гать вывела их на высокий песчаный берег, поросший соснами, – первую настоящую сушу с самого утра. Внизу текла вода: широкая, медленная, тёмная, как дёготь, с бурыми водоворотами. На другой стороне протоки виднелся такой же сосновый берег, а дальше – снова болото, и где-то за ним, на самом горизонте, синела гряда холмов. Колодь, понял Ярема. Холмы над Колодью.

На этом берегу, у самой воды, стояла изба. Низкая, крепкая, на высоком подклете, с маленькими окнами. Рядом – сарай, загон с козой, поленница. На воде у мостков покачивался паром – большой плот из брёвен с перилами, привязанный к канату, натянутому через протоку. Канат уходил на ту сторону к столбу.

Из избы вышла собака – лохматая, рыжая, хромая на заднюю ногу – и залаяла. За собакой вышел человек.

Ярема узнал его сразу, хотя девять лет – долгий срок. Гнат Стрижак всегда был невысокий и полный, теперь стал ещё полнее. Борода, раньше чёрная, поседела клочьями. На голове – войлочная шапка, натянутая до бровей. Он хромал так же, как собака, на правую ногу, и опирался на суковатую палку. Под Колоднем у него хромоты не было.

Гнат увидел гостей, остановился. Прищурился. Потом его лицо изменилось. Ярема видел, как оно поползло вниз, будто растаяло, – глаза расширились, рот приоткрылся, щёки побелели.

– Нет, – сказал Гнат. – Нет. Только не ты.

– Здравствуй, Гнат.

– Уходи. – Обозный попятился к двери. – Уходи, Бусел. Я тебя не видел. Ты сюда не приходил.

– Меня Савва Полторак прислал. С «Трёх верб».

– Савва дурак. Одноглазый дурак. – Гнат махнул палкой. – Уходи. Скрага за тобой охотится. Ловчий его. Все знают. Если тебя тут найдут – меня вздёрнут. И собаку вздёрнут. И козу.

– Мне нужно на ту сторону. И дальше. К Колодню.

Гнат перестал пятиться.

– К Колодню? – переспросил он. – Зачем тебе к Колодню?

Ярема вынул из-за пазухи обгоревшую бересту и протянул ему. Гнат не умел читать. Ярема это знал. Но Гнат посмотрел на бересту – на знак крючков внизу, – и Ярема увидел, как обозный узнал его. Узнал так же сразу, как узнал Ярему. Потому что этот знак Данко рисовал на всех обозных телегах роты, на всех ящиках, на всех мешках с припасами. «Здесь были Буселы». Гнат видел его сотни раз.

Обозный сел на ступеньку крыльца. Палка выпала у него из рук.

– Он написал, – сказал Гнат. – Он, значит, правда написал.

– Ты знал, что напишет?

Гнат не ответил. Он сидел на ступеньке, тяжёлый, сгорбленный, старый, и смотрел на бересту в руке Яремы.

– Пойдёмте в избу, – сказал он наконец. Голос у него был глухой. – Холодно. Девка твоя вон синяя вся. И малой. Пойдёмте. Поедите. А потом я тебя перевезу и забуду, что видел.

– А рассказать?

Гнат поднял на него глаза. Глаза у него были влажные, красные, как у человека, который давно пьёт по ночам один.

– А рассказать, – сказал он, – я тебе девять лет назад всё рассказал.

– Ты мне сказал, что тело нашли у входа в выработки.

– Сказал.

– Я похоронил это тело на Кривом Яру. Месяц назад гроб выбили изнутри. Он пустой. Там нет костей, Гнат. Там ничего нет. Даже моих сапог.

Обозный молчал долго. Собака подошла к нему, ткнулась мордой в колени. Он рассеянно погладил её.

– Сапоги, – сказал Гнат. – Твои сапоги. С подковками. Ты их снял тогда с себя. Я помню. – Он закрыл лицо руками. – Пойдёмте в избу, Бусел. Я расскажу. Только не здесь. Здесь вороны слушают.

Ярема посмотрел наверх. На ближней сосне, на нижней ветке, сидела ворона с белым пером и смотрела на обозного. А Чаруша, стоявшая рядом, тихо сказала, глядя не на Гната, а на землю у крыльца:

– Он не врёт, что боится. Но он что-то прячет.

– Все что-то прячут, – так же тихо ответил Ярема и пошёл к крыльцу.

В избе было чисто, чище, чем Ярема ожидал от одинокого мужика на болоте. Пол выметен, на лавках – полосатые дорожки, на полке – глиняные миски, перевёрнутые донцем вверх, как ставят в хороших домах. В красном углу висела иконка, тёмная, старая, а под ней горела лампадка. Печь была большая, белёная, с лежанкой. На лежанке сидел рыжий кот и смотрел на гостей с презрением.

– Жена была, – сказал Гнат, перехватив взгляд Яремы. – Акулина. Из здешних, болотных. Три года как померла. Порядок от неё остался. Я его держу. Для неё.

Он поставил на стол чугунок с кашей, достал из подпола солёных грибов, вяленой рыбы, кувшин клюквенного морса. Потом, подумав, достал ещё одну бутыль – зелёную, мутную – и две кружки. Чаруша посмотрела на бутыль, но ничего не сказала.

Ели молча. Гнат почти не ел, только пил, и пил быстро, будто торопился. Ярема пил мало. Митко ел за двоих, а потом, отвалившись от стола, ушёл к печи гладить кота. Кот снизошёл и позволил.

– Ты похудел, Бусел, – сказал Гнат после третьей кружки. – И постарел. Седина вон в бороде.

– Ты тоже не помолодел. Что с ногой?

– Это? – Гнат постучал по колену. – Болото. Провалился в первый год, зимой, в полынью. Пока выбрался, ногу отморозил. Акулина выходила. Пальцы отрезала сама, ножом, когда почернели. – Он отпил. – Мы теперь с тобой пара, а? У тебя на руке, у меня на ноге. Колодень всем что-то оставил.

– Не всем, – сказал Ярема. – Остальным он оставил могилу.

Гнат поставил кружку.

– Не надо так, – сказал он тихо. – Не надо, Бусел. Я каждую ночь их вижу. Капитана. Кулика рыжего. Ваньку Гуся. Брата твоего. Я каждую ночь вижу. Я поэтому и пью.

Ярема ничего не ответил. Он смотрел на старого обозного и вспоминал его другим – шумным, хлопотливым, вечно ругающимся с маркитантами из-за цены на овёс. Гнат был в роте как наседка: считал каждый мешок, прятал лучшие куски для раненых, ворчал на всех и всех кормил. Данко звал его «мамка Гнат», и Гнат делал вид, что обижается.

Митко у печи вдруг затих. Ярема краем глаза увидел, как мальчишка что-то поднял с пола у лежанки – маленькое, блестящее – и быстро зажал в кулак. Потом поднял глаза, встретился взглядом с Чарушей и едва заметно мотнул головой. Чаруша чуть опустила веки. Ярема не понял, что это значит, но решил не спрашивать при Гнате.

– Ложитесь на полатях, – сказал обозный, поднимаясь. Его качнуло. – Девка пусть на печи, там тепло. Малой с котом. А ты, Бусел, со мной посиди. Я тебе расскажу. Раз уж он написал. Раз уж всё равно.

Он вышел в сени за водой. Чаруша сразу пересела к Яреме и наклонилась к самому уху.

– Мальчишка нашёл монету, – шепнула она. – Под лежанкой. Серебряную. На ней ворона с ключом.

Ярема медленно повернул голову к печи. Митко сидел, прижав к себе кота, и смотрел на него. Потом разжал кулак – на ладони тускло блеснуло серебро – и снова сжал.

– Скрагина чеканка, – сказал Ярема так же тихо. – Вежинская. Такие в Мокше не ходят. Тут медь да мена.

– Я сказала, он что-то прячет.

– Слышал.

– Что будешь делать?

Ярема долго молчал. Из сеней доносилось, как Гнат гремит ведром и вполголоса ругает кого-то – то ли кота, то ли себя.

– Слушать, – сказал Ярема. – Сначала слушать. Потом считать. Он девять лет назад вёз меня неделю на телеге, когда я гнил заживо. Он мог бросить меня на берегу. Не бросил. Это тоже надо посчитать.

– А если он продал тебя Скраге?

– Тогда он продал меня не сегодня, – сказал Ярема. – И я хочу знать, когда.

Гнат вернулся с полным ведром, поставил его на лавку, сел напротив Яремы и налил себе четвёртую кружку. Посмотрел на неё. Потом отодвинул в сторону, не выпив.

– Ну, слушай, Бусел, – сказал он. – Только не перебивай. Я сбиться боюсь. Я эту историю девять лет никому не рассказывал. Даже Акулине.

Глава 10. Что помнит обозный

– Ты не помнишь, кто открыл ворота, – начал Гнат. – А я знаю. Я видел.

Он сидел, положив тяжёлые руки на стол, и смотрел не на Ярему, а на огонёк лампадки в красном углу. Голос у него стал ровный, почти без хмеля, будто он читал по памяти молитву, выученную давно.

– Вышата Лис. Помнишь его?

Ярема помнил. Невысокий, рыжеватый, с острым лисьим лицом и вечной улыбочкой. Воеводин человек. Скрага дал его роте «для связи», как он сказал, – чтобы через Вышату передавать приказы и вести. Капитан Кос его не любил, но терпел. Вышата держался особняком, ел отдельно, спал отдельно, и когда кончилась еда, почему-то не худел.

– Помню.

– Это он. На сорок третью ночь. Я тогда не спал – я никогда не спал, я ж обозный, у меня мешки, у меня раненые в копях. Я вышел во двор по нужде. Луна была. Вижу – у ворот Вышата. С ним двое из караула, из новых, кого он в последние дни угощал чем-то. Они сняли засов. Я хотел крикнуть – а Вышата повернулся и посмотрел на меня. И улыбнулся. И я не крикнул, Бусел. – Гнат сжал кулаки на столе. – Я не крикнул. Я испугался. Я побежал в копи, к раненым. Я думал – спрячусь. А потом уже кричали все. Брячиславовы вошли.

– Ты не крикнул, – повторил Ярема.

– Не крикнул. Можешь меня убить. Я этого девять лет жду.

Ярема молчал. Он смотрел на обозного и думал, что должен сейчас что-то почувствовать – злость, ненависть, желание ударить. Но он ничего не чувствовал. Только пустоту, как тогда, в разрытой могиле.

– Дальше, – сказал он.

Гнат перевёл дух.

– Дальше ты знаешь. Резня во дворе. Капитан собрал кого мог, увёл вниз. Тебя Данко притащил. Ты был весь в крови, белый. Я посмотрел на рану – а там... – Он махнул рукой. – Я в роте пятнадцать лет. Я раненых видел больше, чем ты живых. Такие не живут, Бусел. Копьё вошло под рёбра и вышло сбоку. Кишки было видно. Я Данко так и сказал: оставь, не дотащишь, он к утру отойдёт. Данко мне в морду дал. Первый раз за пятнадцать лет. Чуть зуб не выбил.

Ярема провёл рукой по левому боку, по старому шраму под рубахой. Широкому, звездой. Он десять лет думал, что это был просто тяжёлый удар, что ему повезло, что копьё прошло вскользь.

– Капитан повёл нас к лазу, – продолжал Гнат. – Там ходы – сам леший ногу сломит. Соль, соль, соль, всё белое, блестит. Капитан знал дорогу, у него был план, старый, ещё от строителей крепости. Но за нами шли. Брячиславовы. С факелами. Капитан остался с десятком держать проход у Кривой галереи. Сказал нам: идите. Данко нёс тебя. Я шёл рядом, нёс факел и мешок. Ещё трое с нами было – Кулик-младший, брат рыжего, и двое из третьего десятка. Они отстали где-то. Я не знаю, где. Я больше их не видел.

Он замолчал. Огонёк лампадки дрогнул.

– Дальше, – сказал Ярема.

– Дальше было то, что я тебе не сказал. – Гнат посмотрел наконец ему в глаза. – Мы пришли в большую палату. Круглую, высокую, со сводом. Там соль была не белая, а серая, тёмная, и в ней блестело что-то, как слюда. Посередине стоял камень, большой, плоский, вроде стола. Данко положил тебя на этот камень. Ты уже не дышал почти. Хрипел. И Данко сказал мне: «Иди вперёд, Гнат. Найди лаз. Посмотри, свободен ли. Потом вернись за нами». Я пошёл.

Мне было страшно, но я пошёл. Лаз нашёл быстро, в полуверсте. Свободный. Вода в нём по колено, и через него видно реку и звёзды. Я вернулся.

– И?

– И увидел, что Данко не один.

Чаруша, сидевшая на печи, тихо выдохнула. Митко у неё под боком перестал гладить кота.

– С ним был кто-то, – сказал Гнат. Голос его упал до шёпота. – Высокий. Выше человека, выше двух. Серый, весь серый, будто из пыли. Я не видел лица. Не знаю, было ли у него лицо. У него в руках была книга. Большая, как церковная, в железном окладе. И он в неё что-то писал. Без пера. Пальцем. Палец у него светился, как гнилушка в лесу.

– Мытарь, – тихо сказала Чаруша.

– Не знаю, как его звать. – Гнат помотал головой. – Я встал за выступом и смотрел. Данко стоял перед ним на коленях. Над тобой. И говорил. Быстро, тихо, как он говорил с маркитантами, когда торговался за овёс. Я слышал только обрывки. «Десять лет». «Его память тоже». «Да, я понимаю». «Да, если не придёт». И ещё одно. Он сказал: «Он придёт. Он всегда за мной ходит».

Ярема сидел неподвижно. Ему казалось, что стены избы медленно сдвигаются вокруг него.

– Потом серый закрыл книгу, – сказал Гнат. – Положил руку тебе на бок. Вот так, плашмя. И ты закричал. Громко, страшно, на всю палату. Я думал – всё, отошёл. А ты перестал хрипеть. Задышал ровно. Серый убрал руку и ушёл. Не ушёл даже – растаял. Как туман. А Данко сидел рядом с тобой, на полу, и держался за голову.

– Ты подошёл?

– Подошёл. Он увидел меня, встал. Лицо у него было... – Гнат долго подбирал слово. – Как у человека, который проиграл в кости всё, что у него было, и ещё сверху. Пустое. А потом он улыбнулся. Как всегда. Своей улыбкой. И сказал: «Забирай его, мамка Гнат. Вывези. Рана закрылась, видишь? Он будет жить».

Гнат замолчал. Ярема ждал.

– Я спросил: а ты? – сказал обозный. – А он ответил: «А я останусь. У меня тут дело». Я спросил какое. Он сказал: «Не твоё». Я сказал, Брячиславовы идут, они тебя убьют. А он засмеялся и сказал: «Меня уже не убьют, Гнат. Меня уже купили». И потом он схватил меня за ворот, вот так, близко, и сказал: «Не говори ему. Никогда. Ни про серого, ни про книгу. Ни слова. Скажешь – всё пропадёт. Понял? Если он сам вспомнит – значит, так и надо. А от тебя – ни слова». И я поклялся.

– Поклялся, – повторил Ярема.

– На сапогах твоих поклялся. – Гнат криво усмехнулся. – Он снял с тебя сапоги, с подковками, и надел на себя. Свои у него совсем развалились, подошвы отвалились, он в обмотках шёл. Сказал: «Мне долго ходить, ему пока лежать. Пусть мне будут его сапоги. Как залог». И отдал мне свой меч. Тот, что у тебя сейчас на поясе. Сказал: «Отдай младшему, когда очнётся. Его меч во дворе остался».

Ярема опустил взгляд на рукоять меча. Обмотка, которую он сам менял в прошлом году. Под обмоткой – старое, потемневшее дерево, где Данко когда-то вырезал два крючка. Ярема знал, что они там, хотя не видел их десять лет.

– А тело? – спросил он. – Ты сказал – тело нашли у входа в выработки.

– Нашли. Я нашёл. – Гнат опустил голову. – Я вывез тебя через лаз, уложил на берегу, в кустах. Потом нашёл телегу брошенную, с конём – в деревне за рекой все разбежались. Погрузил тебя. Хотел уехать сразу. А не смог. Вернулся на другой день. Брячиславовы ушли уже, крепость пожгли и ушли. Я пошёл к входу в копи, со двора. Хотел посмотреть, может, кто живой вышел.

– И?

– Он лежал у входа. На спине. В твоих сапогах. Лицо спокойное, будто спит. Ни одной раны. Ни царапины. И весь в инее. Весь, с головы до ног, хотя была ещё не зима, а только осень, и днём было тепло. Иней на ресницах. На бороде. – Гнат сглотнул. – Я его тронул. Он был лёгкий, Бусел. Как сухая ветка. Будто внутри у него ничего не было.

Тишина в избе стояла такая, что слышно было, как потрескивает фитилёк лампадки.

– Я его в рогожу завернул и тоже на телегу, – сказал Гнат. – К тебе рядом. И повёз. Неделю вёз. Ты в бреду всё звал его. «Данко, Данко, ты где». А он лежал рядом в рогоже. Я тебе не говорил. Потом, когда ты очнулся, сказал – тело нашли. И всё. Остальное – не сказал. Я клялся.

– А Вышата? – спросил Ярема. Голос у него был чужой, как у мытаря. – Что с ним?

Гнат поднял голову и усмехнулся без всякой радости.

– А Вышата живой. Через год я его видел в Заколодье, на ярмарке. В шубе. С серебряной цепью на шее. Он теперь у Скраги ключник, всю казну держит. Мимо меня прошёл и не узнал. Или сделал вид. – Обозный помолчал. – А может, и узнал. Он всегда всё помнил, Лис. Каждую монету, каждое слово. Он мне тогда, у ворот, улыбнулся так, будто записал меня куда-то.

– Скрага ему заплатил за ворота.

– Скрага ему заплатил за роту, – поправил Гнат. – Брячиславу ворота были нужны, а Скраге – чтобы рота легла. Вся. До последнего. Я это потом понял, когда воевода через месяц пришёл с войском и разбил Брячислава у Колоди, уставшего, с добычей. И взял его земли. И Вежин взял. А роте не заплатил ни медяка. Некому было платить.

Ярема вспомнил вдову Кулиху в слободе и её грамоту за божницей. Восемь серебром. Продана за две медных.

Ярема поднялся из-за стола. Ноги у него были как деревянные. Он подошёл к двери, открыл её. Холодный воздух ударил в лицо. Снаружи было темно, только на протоке, на воде, отражались звёзды.

– Бусел, – позвал Гнат из-за стола. – Бусел, не уходи. Ударь меня, если хочешь. Только не уходи так.

Ярема не ответил. Он вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь.

Он спустился к воде. Песок под сапогами был холодный и сырой. Протока текла тихо, тёмная, широкая, и в ней плыли звёзды, медленно поворачиваясь в водоворотах. Паром покачивался у мостков, скрипел канатом.

Ярема сел на мостки, свесив ноги. Как в детстве, в Кленовце, на реке. Только тогда рядом сидел Данко.

Он вспомнил – ясно, как будто это было вчера, – последний вечер в Кленовце перед пожаром. Им было семнадцать и четырнадцать. Они сидели на мостках, и Данко бросал в воду камешки, а Ярема считал круги. Данко сказал тогда: «Когда я уйду в роту, ты останешься с отцом». Ярема сказал: «Нет. Я пойду с тобой». Данко засмеялся и сказал: «Ты мне только мешать будешь». А Ярема сказал: «Ну и пусть».

Через неделю деревню сожгли. Отец погиб на пороге собственного дома, с вилами в руках. И Ярема пошёл за братом в роту, потому что больше идти было некуда. Данко никогда не говорил, что он ему мешает. Ни разу за тринадцать лет. Даже когда Ярема мешал.

А Ярема, оказывается, ни разу не сказал ему спасибо. Ни за реку, ни за роту, ни за Колодень. Он не умел. В их доме таких слов не говорили. Отец считал, что слова – это для попов и баб. Данко над этим смеялся, а Ярема – нет. Ярема просто молчал. Он думал, что брат и так знает.

Он думал. Он пытался считать, как всегда, до пяти, потом до десяти, и не мог. Цифры рассыпались. Слова рассыпались. Оставалось только одно – картинка, которую нарисовал Гнат и которая не уходила из головы. Брат на коленях над ним, в серой соляной палате. Брат, кото-

рый торгуется. Быстро, тихо, как с маркитантами за овёс. За что? За него. За младшего, у которого кишки видно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.